

Андрей Краснящих



ПИСАТЕЛИ В ХАРЬКОВЕ  
СЛУЦКИЙ

ПИСАТЕЛИ В ХАРЬКОВЕ. СЛУЦКИЙ

Андрей Краснящих

Андрей Краснящих

ПИСАТЕЛИ  
В ХАРЬКОВЕ

СЛУЦКИЙ

Харьков  
«ПРАВА ЛЮДИНИ»  
2020

УДК 821.161.1(477)'06-1+929Слу(477.54-25)  
К78

*На обложке рисунок Александра Мильштейна  
«Борис Слуцкий и Василий Ермилов»*

**Краснящих А. П.**

**Писатели в Харькове. Слуцкий.** Харьков: ООО «Изда-  
К78 тельство „Права человека“», 2020. 192 с., фотоилл.

ISBN 978-617-7391-69-1

Родившийся в Славянске Борис Слуцкий (1919–1986) с 1922-го по 1937 год жил в Харькове: детство и отрочество. «Как будто бы доброе дело / я сделал, что в Харькове жил <...>» («Тридцатые годы»). Книга об этом — эпохе Слуцкого в Харькове: «Жизнь, состоявшая из школы, / семьи, и хулиганской улицы, / и хлеба, до того насущного, / что вспомнить тошно <...>» («Читали, взглядывая изредка...»). Об эпосе Харькова, созданном Слуцким в шести десятках стихов (баллад; они во второй части книги собраны единым блоком, впервые), и о харьковском языке, изменившем у Слуцкого, по выражению Иосифа Бродского, всю «тональность послевоенной русской поэзии».

«Я вырос на большом базаре, / в Харькове <...>» («Музыка над базаром»), «Как говорили на Конном базаре? / Что за язык я узнал под возами? // <...> Здесь я учился, и вот я — каков. / Громче и резче цеха кузнечного, / Крепче и цепче всех языков / Говор базара» («Как говорили на Конном базаре?...»).

Для всех, интересующихся поэзией, Харьковом, Слуцким — и ответом на вопрос «Слуцкий ты / Или советский?» (Всеволод Некрасов).

УДК 821.161.1(477)'06-1+929Слу(477.54-25)

ISBN 978-617-7391-69-1

© А. П. Краснящих, 2020

© А. М. Мильштейн, рисунок, 2020

## ПИСАТЕЛИ В ХАРЬКОВЕ<sup>1</sup>. СЛУЦКИЙ

7 мая этого года<sup>2</sup> — столетие Слуцкого. К вышедшей на девяностолетний юбилей второй биографии — «По теченью и против теченья... (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)»<sup>3</sup> Петра Горелика<sup>4</sup> и Никиты Елисеева — добавилась третья: «Борис Слуцкий: Майор и муза»<sup>5</sup> Ильи Фаликова; очевидно, будет масса и статейных публикаций. А вот чего, жаль, нет как нет, так это улицы Слуцкого в Харькове или даже памятника ему, нет простого: таблички на доме, где жили его родители в последнее время и куда он приезжал к ним (Московский проспект, 11), — дом же, где он вырос, где жил в Харькове с 1922-го по 1937-й, и sporadически в 1946–1948-м, на Конной (теперь — Защитников Украины) площади, 9 не сохранился. Нет улиц Слуцкого ни в Москве, где он жил после Харько-

<sup>1</sup> Мандельштам, Бунин, Хлебников, Кленовский, Введенский, Есенин, Копелев — «Новый мир», 2016, №№ 10–12.

<sup>2</sup> 2019. Книга была написана в начале этого года.

<sup>3</sup> М., «Новое литературное обозрение», 2009.

А первая — это уже подзабытая или не столь известная, изданная в 2003-м Нью-Йорке («Hermitage Publishers») «Борис Слуцкий. Очерк жизни и творчества» профессора университета Северной Каролины Григория Ройтмана. Есть ещё в ином жанре, популярнее, «Праведник среди камнепада. Документальная повесть» Юрия Окланского («Дружба народов», 2015, № 5; затем в книге «Праведник среди камнепада. Биографические детективы», М., «Достоинство», 2016).

<sup>4</sup> Друга с детства, публикатора Слуцкого: «Теперь Освенцим часто снится мне» (СПб., «Журнал “Нева”», 1999, 128 с.) — сборник до того не публиковавшихся стихов и мемуарной прозы Слуцкого на еврейскую тему; «О других и о себе» (М., «Вагриус», 2005, 288 с.), включающий написанные ещё летом 1945-го и при жизни не напечатанные слишком откровенные «Записки о войне», а также воспоминания о знакомых — и друзей-писателях. Кроме того, Пётр Горелик собрал «Борис Слуцкий: Воспоминания современников» (СПб., «Журнал “Нева”», 2005, 560 с.). Это только то, что касается книг.

<sup>5</sup> М., «Молодая гвардия», 2019, 436 с., серия «ЖЗЛ». Главами публиковалась в «Дружбе народов» (2018, №№ 5–7) и др.

ва, ни в Туле, где доживал у брата<sup>6</sup>, но Харьков же Слуцкому обаян особо, настолько, что украинская «Википедия» пишет: «Боріс Абра́мович Слу́цкий (\* 7 травня 1919, Слов'янськ — † 22 лютого 1986, Тула) — український та російський поет і перекладач <...><sup>7</sup> — и в этом нет преувеличений, покажем.

А как бы отнёсся сам Слуцкий к такому определению, в советское время, может, и странному для него? Хотя может, и нет, еврейскую же тему он не прятал под советской<sup>8</sup>, наоборот, и украинского детства-отрочества, сформировавшего его — о чём напрямую в полусотне, больше, стихов<sup>9</sup>, — не забывал. Вероятно, еврейская тема так не звучала бы у него, если б не Холокост и не антисемитизм, бытовой, на местах, и государственный, «борьба с космополитами» и пр., в СССР, — растворённая в его стихах украинская тема прозвучала бы сегодня, доживи он, тоже отчётливей, ведь

<sup>6</sup> Есть переулочек Бориса Слуцкого! В Славянске, появившийся ещё до столетия — 19 февраля 2016-го при декоммунизации из переулка Пархоменко. Поэтому и табличка в Славянске к столетию (на здании одного из факультетов Донбасского госпедуниверситета, бывшей гимназии, вероятно которую мать Слуцкого окончила): «У місті Слов'янську народився відомий поет та перекладач БОРИС АБРАМОВИЧ СЛУЦЬКИЙ (07.05.1919 — 23.02.1986)». Вот только цитата на ней — «...родился здесь и здесь хочу умереть» — не самая удачная, ибо относится не к Славянску, а к родине как таковой, и вообще заканчивается стихотворение стрёмно для нынешнего Славянска: «Необходимо мне, / чтобы на склоне дней / берёза была в окне, / чтобы ворона на ней, / чтобы шелест этой листвы / и грай / услышались мне / в районной больнице Москвы, в родимой стороне» («Хочу умереть здесь...», из стихов первой половины 1970-х, по датировке Болдырева в примечаниях трёхтомника). Я б посоветовал другое — и беспарфосно слуцкое, более бытийное интонационно: «И так я родился» (из раннего, 1941 г., «Неоконченных размышлений»).

Но как бы то ни было, Славянск, в котором Слуцкий прожил три года и которого не помнит, помнит о Слуцком, а Харьков, в котором восемнадцать и несколько после войны и о котором в шестидесяти одном ещё и каком стихотворении, — нет.

<sup>7</sup> Очевидно, благодаря включающему страницу о Слуцком (<http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/51377ee4e762b70e/>) интернет-проекту «Українці в світі», который «<...> представляє видатних українців, що здійснили помітний внесок у розвиток світової цивілізації, чії здобутки у сфері церковної історії, державотворення, науки і культури виходять за межі суто національного. Це — діячі, які стали відомими на весь світ, живучи в Україні; емігранти з України, що здобули визнання в чужих державах; особистості, які не акцентуючи на своєму походженні, все ж залишалися генетично спорідненими з Україною» и на который в «википедийном» «Слуцкий Борис Абрамович» ссылка.

<sup>8</sup> О Слуцком как еврейском поэте (и мыслителе) книга американского исследователя Марата Гринберга «“I am to be read not from left to right, but in Jewish: from right to left”. The Poetics of Boris Slutsky» (Boston, «Academic Studies Press», 2011, 482 p.).

<sup>9</sup> См. следующий раздел книги: «Борис Слуцкий. [Харьков]».

вряд ли он воспринял бы всё иначе, чем его харьковский друг детства и до конца<sup>10</sup>, такой же фронтовик Пётр Горелик, о котором его соавтор Никита Елисеев в некрологе говорит: «Он был настоящим офицером и настоящим интеллигентом. Сказать, что он тяжело переживал всё, что происходит в Украине, значит, ничего не сказать. Он родился в Киеве, жил в Харькове, где и подружился на всю жизнь с Борисом Слуцким, учился в военном училище в Одессе. Он любил Украину, знал украинский язык. Его, солдата Великой Отечественной было не обморочить лозунгами “Русской весны”»<sup>11</sup>.

Конечно же, Харьков помнит Слуцкого — но не официально<sup>12</sup>. Из официального была одна «Харьковская муниципальная премия имени Бориса Слуцкого», основанная в 1998-м, присуждавшаяся русскоязычным харьковским поэтам и по-тихому свёрнутая как ненужное, когда в 2010-м городским головой стал Кернес и понятие культуры редуцировалось до велопробегов и фейерверков<sup>13</sup>. В 2013-м к 70-летию освобождения Харькова армянской общине удалось пробить разрешение и повесить на ул. Кравцова, 8 мемориальную доску «На этой улице жил фронтовик, известный советский поэт и киносценарист Григорий Михайлович Поженян (1922–2005)»<sup>14</sup>, но и в связи с этим о Слуцком, тоже фронтовике, более того — освобождавшем Харьков (Поженян служил на флоте), более того — награждённом за него<sup>15</sup>, — тогда не вспом-

<sup>10</sup> Будучи уже больным, в депрессии, («...» он сказал: “Никого не хочу видеть, только Петю Горелика и Дезика” (Давида Самойлова)» (Елисеев Н. Настоящий полковник — настоящий интеллигент. В Петербурге умер Пётр Горелик — легенда литературного мира. — «Новая газета», 2015, № 20, с. 17).

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Ну, например, в том числе, в «Чичибабин-центре» вечер к 90-летию Слуцкого; или Слуцкий — один из «100 знаменитых харьковчан» В. Карнацевича (Х., «Фолио», 2005, 510 с.; правда он там в весёлой компании с современными политиками и спортсменами, но не с ними одними).

<sup>13</sup> Если нужно подробнее: <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Truba>.

Сегодня фейерверки заменили парками и скверами, с культурой ситуация прежняя.

<sup>14</sup> И ещё одну, на Полтавском Шляхе, — композитору-песеннику Георгию Мовсеяну, родившемуся в Харькове в 1945-м.

Не только армянской: как раз на доме родителей Слуцкого на Московском, 11 с 2013-го висит «В этом доме работал в 1883–1884 годах родоначальник азербайджанского кино фотограф Александр Мишон». Замечательно, жаль не Слуцкому.

<sup>15</sup> Письмо Слуцкого к Горелику (февраль 1944-го): «Поздравь меня с орденом “Красной Звезды”, тем более, что он за Харьков» (Горелик П. Друг юности и всей жиз-

нили.<sup>16</sup> Не вспомнили и при декоммунизационном переименовании улиц в 2016–2017-м, в целом удачном, неплохом: появились наконец улицы живших в Харькове писателей: Михаила Петренко, Сосюры, Бажана, Хвylieвого, Свидзинского, Юры Зойфера и мн. др. — и не только писателей: Леонида Быкова, Врубеля, Льва Ландау, Марка Бернеса, Людмилы Гурченко и т. д. Но не Слуцкого<sup>17</sup>.

А вот памятника Слуцкому пока не надо. Памятники в Харькове — большая проблема со вкусом, и если что-то ставится (а ставится много), то не радует и не украшает, как той же Гурченко, появившийся летом 2018-го, о котором верно пишут: ««...» все эти опереточные шляпки и воланы, этот провинциальный лубок оказался ярким воплощением того стиля в городском искусстве Харькова, который с чьей-то лёгкой руки уже получил меткое название “Кернессанс” (видимо, по аналогии со стилем “быккоко”, в котором отделан особняк экс-генпрокурора Пшонки). Колонну в этом же стиле — пафос, завитушки и позолота — нам в прошлом году пытались вклеить прямо перед главным архитектурным достоянием города — Госпромом. Хвала небесам и небезразличным горожанам — не вышло»<sup>18</sup>.

ни. — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 42–43).

<sup>16</sup> Слуцкий знал Поженяна по Харькову. Близкими друзьями или в одной компании они, видимо, не были, но знакомы были.

«Исключали из комсомола Гришу Поженяна. Он тоже попал в космополиты. В паспорте у него значилось — “еврей”. Он уверял, что евреем записался из чистого благородства, хотя и не скрывал, что мама его — еврейка. Но отец — чистопородный армянин.

— А у вас в институте считалось, что Поженян наполовину еврей, наполовину армянин? — спросил меня однажды (много лет спустя) Борис Слуцкий.

— Да, — сказал я. — А у вас в Харькове?

— У нас в Харькове, — без тени улыбки ответил он, — считалось, что он наполовину еврей, наполовину еврей» (Сарнов Б. Занимательная диалектика. — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 242).

<sup>17</sup> Вода, безусловно, камень точит. Сколько твердилось везде в печати, что дом Бунина, Нобелевского лауреата, стоит без таблички о нём, и вот осенью 2018-го года топонимическая комиссия при горсовете приняла решение. Может, и улица Бунина теперь появится. И до Слуцкого когда-нибудь дело дойдёт, просто нужно твердить.

(Но решение решением, и это также характеризует кернессовский горсовет, а таблички на доме Бунина и сейчас — в начале 2020-го — нет.)

<sup>18</sup> Павленко Е. Харьков, Люся, «Кернессанс». Почему нас так бесит памятник Гурченко? (<https://www.objectiv.tv/subjectively/2018/07/23/harkov-lyusya-kernessans-rochemu-nas-tak-besit-pamyatnik-gurchenko/>).

Не уверен, прав ли, но мне кажется, такая ситуация со Слуцким, везде, официально его забывают, при том что неофициально он главный, лучший поэт послевоенной эпохи, почти в одиночку изменивший тональность русской поэзии (по уже довольно зацитированному, а что делать, определению Бродского<sup>19</sup>), связана не в последнюю очередь и с тем, что у него, вполне легального, известного, признанного, нет ни одной литературной премии, у всех неподпольных поэтов его эпохи есть, а у него нет. Ни Ленинской<sup>20</sup>, ни Государственной<sup>21</sup>, ни Ленинского комсомола<sup>22</sup>, ни какой-нибудь Госпремии РСФСР имени М. Горького<sup>23, 24</sup>. И это лишь кажется, что ну и что, на самом деле очень показательно — да ещё с учётом, что все эти премии, кроме имени Горького, нормально давались посмертно, как скончавшемуся в 1964-м Светлову — Ленинскую в 1967-м и Ленинского комсомола в 1972-м (её даже Маяковскому в 1968-м дали), или Государственную — Высоцкому в 1987-м, Арсению Тарковскому в 1989-м; и просуществовали они до 1991-го, Ленинского комсомола до 1990-го, а у Слуцкого после смерти книги выходили одна за другой, и тол-

Следует добавить, не знаю, насколько курьёзное: кроме воланов и завитушек, там ещё вокруг по памятнику скульптуры расставлены — актёров, с которыми Гурченко снималась в фильмах: Никулину, Андрею Миронову, Басилашвили, Джигарханяну, Любшину, Шакурову — и Александру Михайлову («Любовь и голуби»), всю поддерживающему ЛНР и ДНР. Ему поэтому в Украину въезд запрещён — а в Харькове памятник.

<sup>19</sup> И впервые приведённому, похоже, Валентиной Полухиной в «Бродский глазами современников» (СПб., «Журнал “Звезда”», 1997, с. 72), в примечаниях к интервью с Яковом Гординым.

<sup>20</sup> Твардовский (1961), Симонов (1974) и др. поэты-фронтовики.

<sup>21</sup> Смеляков (1967), Твардовский (1971), Луконин (1973), тихий Леонид Мартынов (1974), близкий друг Слуцкого, Вознесенский (1978), Рождественский (1979), Евтушенко (1984), Ваншенкин (1985), Межиров (1986), Евгений Винокуров (1987), Давид Самойлов (1988), тоже близкий друг, Ахмадулина (1989), Чичибабин (1990), Окуджава (1991) и др. поэты более-менее круга Слуцкого.

<sup>22</sup> Рождественский (1972), Старшинов (1983) и др.

<sup>23</sup> Леонид Мартынов (1966), Наровчатов (1974), Юлия Друнина (1975), Старшинов (1984), Пожеян (1986) и др.

<sup>24</sup> Литературная (военных много: ордена «Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, упомянутый «Красной Звезды», медали «За оборону Москвы», «За освобождение Белграда», болгарский орден «За храбрость», польский «Крест Грюнвальда» и др.) награда у него одна-единственная и совсем не того уровня, что премии: в 1979-м к шести-десятилетнему юбилею орден «Знак Почёта».



стые и тонкие: «Стихи разных лет: Из неизданного» (1988), «Без поправок» (1988), «Сеанс под открытым небом» (1988), «Стихотворения» (1989), «Я историю излагаю...» (1990), «Судьба: Стихи разных лет» (1990), — и трёхтомник в 1991-м<sup>25</sup>.

Дело, ясно, не в том, что воздать посмертно Слуцкому — в виде табличек, памятников и улиц — чиновников останавливает отсутствие у него премиально-официального признания при жизни, просто он какой-то совсем другой, не годящийся для такого возвеличивания, не то чтобы камерный и не андеграундный, естественно, но по ту сторону и официоза и диссидентства. Это как тот случай у него с Пастернаком, на собрании московской организации писателей в 1958-м, когда его, партийного секретаря поэтической секции (и вообще только что, за год до этого, принятого в Союз писателей — накануне сорокалетия), вызвали в ЦК и поручили осудить недавно объявленного Нобелевским лауреатом Пастернака: отказаться нельзя, выступить позорно, он выступил неразгромно<sup>26</sup>, пристыдив и всё, но затем всю жизнь мучился и винил себя за то, что подчинился и поучаствовал. Или, может, ещё лучше характеризует положение его же (ставшее потом общенародным, как и «физики и лирики») «широко

<sup>25</sup> Всё благодаря многолетнему другу и литературному душеприказчику Слуцкого Юрию Болдыреву, после смерти которого в 1993-м публикатором архива Слуцкого стал Пётр Горелик. (И Виктория Левитина, подруга юности Слуцкого, публиковала его стихи из своего архива.) Сегодня, после смерти Горелика, с 2017 года архивом и публикацией неизвестных стихов Слуцкого занимается Андрей Крамаренко.

<sup>26</sup> Не мягко, разумеется, но и без проклятий, как у других, до и после него (Смирнов, Ошанин, Безыменский, Солоухин, Мартынов, Полевой etc.), собственно, вот: «Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди. Господа шведские академики знают о Советской земле только то, что там произошла ненавистная им Полтавская битва и ещё более ненавистная им Октябрьская революция. Что им наша литература? В год смерти Льва Николаевича Толстого Нобелевская премия присуждалась десятый раз. Десять раз подряд шведские академики не заметили гения автора “Анны Карениной”. Такова справедливость и такова компетентность шведских литературных судей! Вот у кого Пастернак принимает награду и вот у кого он ищет поддержки! Всё, что делаем мы, писатели самых различных направлений, — прямо и откровенно направлено на торжество идей коммунизма во всём мире. Лауреат Нобелевской премии этого года почти официально именуется лауреатом Нобелевской премии против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле» (Стенограмма общемосковского собрания писателей. 31 октября 1958 г. — «Горизонт: общественно-политический ежемесячник», М., 1988, № 9 [454]) — самое краткое выступление из всех.

известен в узких кругах»<sup>27</sup>, в том смысле, что в широкий круг не выйдет и не должен, и совершенно не нужно.

А вот насчёт «широкой известности» и влияния на — закончим цитату из Бродского (который признавался, писать начал, прочитав Слуцкого<sup>28</sup>): «Его стих был сгустком бюрократизмов,

<sup>27</sup> Начальная строка стихотворения (из сборника «Сегодня и вчера» [1961]), о которой Болдырев в комментариях трёхтомника пишет: «Бытует рассказ о том, как Слуцкий благодаря кому-то из своих однокашников по юридическому институту ознакомился со своим “досье” в “компетентных органах”, одна из “дружеских” характеристик 40-х годов, находившихся там, начиналась фразой: “Широко известен в узких кругах”» (Примечания. — В кн.: Слуцкий Б. Собрание сочинений в трёх томах. Том 1. М., «Художественная литература», 1991, с. 524).

<sup>28</sup> **СВ:** А каков был импульс, побудивший вас к стихописанию?

**ИБ:** Таких импульсов было, пожалуй, два. Первый, когда мне кто-то показал “Литературную газету” с напечатанными там стихами Слуцкого. Мне тогда было лет шестнадцать, вероятно. Я в те времена занимался самообразованием, ходил в библиотеки. Нашёл там, к примеру, Роберта Бёрнса в переводах Маршака. Мне это всё ужасно нравилось, но сам я ничего не писал и даже не думал об этом. А тут мне показали стихи Слуцкого, которые на меня произвели очень сильное впечатление. А второй импульс, который, собственно, и побудил меня взяться за сочинительство, имел место, я думаю, в 1958 году. В геологических экспедициях об ту пору подвизался такой поэт — Владимир Британишский, ученик Слуцкого, между прочим. И кто-то мне показал его книжку, которая называлась “Поиски”. Я как сейчас помню обложку. Ну, я подумал, что на эту же самую тему можно и лучше написать. Такая амбициозность-неамбициозность, что-то вроде этого. И я чего-то там начал сочинять сам. И так оно и пошло» (Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., «Издательство “Независимая газета”», 1998, 328 с., серия «Литературные биографии»).

В 1956 году, когда Бродскому было шестнадцать, в «Литературке» (14 июля) вышло стихотворение Слуцкого «Памяти товарища», посвящённое погибшему в 1941-м ленинградскому поэту Юрию Инге, — уже характерно «слуцкое». Но если Бродский имеет в виду не обязательно свежую публикацию, то предыдущий раз Слуцкий печатался в «Литературке» за три года до того (15 августа 1953-го), это «Памятник» (для П. Горелика и Н. Елисеева в «По теченью и против теченья...» сомнениям на этот счёт никаких: «Иосиф Бродский говорил, что “Памятник” Слуцкого толкнул его к стихописанию» [с. 191]), — первое его стихотворение, опубликованное после двенадцатилетнего перерыва с мартовского номера «Октября», где была поэтическая подборка студентов Москвы и в ней без начала и концовки «Маяковский на трибуне» Слуцкого (ну, не считая двух строк из «Кельнской ямы», анонимно вошедших в «Бурю» Эренбурга, напечатанную в 1947-м в «Новом мире»). Я бы сделал ставку на «Памяти друга», в «Памятнике» всё же многовато для дальнейшего Слуцкого пафоса. (А следующий раз Слуцкий опубликовался в «Литературной газете» в 1960-м.) Но по-видимому, всё гораздо проще: раз Бродский говорит не об одном, а о «стихах» Слуцкого — в «Литературке», то это не иначе та самая статья Эренбурга, сделавшая нешироко известному Слуцкому имя, где приведены по половине «Кельнская яма», «В сорока строках хочу я выразить...», «— Хуже всех на фронте пехоте!..», почти половина «Вот вам село обыкновенное...» и почти целиком «А я не отвернулся

военного жаргона, просторечия и лозунгов, с равной лёгкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное — конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорил языком двадцатого века <...>. Его интонация — жёсткая, трагичная и бесстрастная — способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чём он выжил»<sup>29</sup>.

Это определение, данное Бродским, как я уже сказал, теперь во многом титульное для Слуцкого, Нобелевский лауреат же. Но не менее важным и интересным должно быть, как сам Слуцкий определяет себя — свою поэзию, её характер, роль, место и т. п. А стихов-саморефлексий у него ого-го.

Начать следует с жанра — как дискурсообразующего. Слуцкий о своих стихах говорит — баллады. В написанном в начале 1970-х «К истории моих стихотворений»<sup>30</sup> он частично объясняет, что им вкладывается в это понятие: «“Госпиталь”<sup>31</sup> в моей литературной судьбе имеет чрезвычайное, основополагающее значение. На этом стихотворении я, собственно, и выучился писать. Сочинённая примерно за год до этого “Кёльнская яма” тоже стихи, но сочинённые как бы сами по себе, по вдохновению, и притом сразу, в одну ночь. А “Госпиталь” задумывался, выстра-

от народа...», «Телефонный разговор», большая часть «Лошадей в океане» и «Толпа на Театральной площади...», без последней строфы «Броненосец “Потёмкин”», где-то треть «Итальянца» и небольшой кусочек, строфа, из «Бани», т. е. в сумме хорошая подборка, одиннадцать стихов, и вышла она, статья Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого», в «Литературной газете» 28 июля 1956-го.

<sup>29</sup> Цитирую в этот раз не перевод Льва Лосева («Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии». М., «Молодая гвардия», 2006, серия «ЖЗЛ»), на который ссылался выше, где эта фраза дана в сокращении, а приведённый в «Бродский глазами современников» Полухиной перевод Виктора Куллэ, повторенный Гореликом и Елисеевым в «По теченью и против течения...» (с. 299–300), правда, с ошибкой в годах: «Выступая в 1975 году на симпозиуме “Литература и война”, Бродский сказал <...>, — а у Полухиной: «В докладе на симпозиуме “Literature and War” (1985) Бродский говорил <...> — и затем «J. Brodsky, “Literature and War — A Symposium: The Soviet Union” (“Times Literary Supplement”, 17 May 1985, P. 543–544)».

<sup>30</sup> В книге «О других и о себе» (с. 190–191).

<sup>31</sup> «Первый вариант написан осенью 1945 года <...>» (оттуда же). Вошёл в дебютную книгу стихов «Память» (1957).

ивался, писался, переписывался в течение многих месяцев, точнее говоря, лет. На нём понято мною больше, чем на любом другом стихотворении, и долгие годы мне хотелось писать так, как написан “Госпиталь”, — “взрыв, сконцентрированный в объёме  $40 \pm 10$  строк”. Весь мой лихой набор скоростных баллад пошёл именно с “Госпиталя”. В “Кёльнской яме” тема (война) уже была, отношение к теме тоже было, но формы не было».

Та внутренняя цитата — из стихотворения середины 1940-х с — более чем — названием «Современная теория баллады» и ещё и с подзаголовком «Лекция». Впервые оно опубликовано только в 1991-м, в трёхтомнике (в разделе «Из ранних стихов»), и понятно, почему Слуцкий его не печатал, оно чересчур пафосное и декларативное для той приглушённой и сдержанной, «бесстрастной», как говорит Бродский, интонации, которая в итоге стала у Слуцкого жанровой, основной. И тем не менее, раз Слуцкий о нём помнит и через четверть века и даже цитирует, значит, в нём сформулировано что-то очень существенное, не потерявшее для него теоретической актуальности, а именно:

Взрыв, локализованный в объёме  
Сорока плюс-минус десять строк, —  
Это формула баллады (кроме  
Тех баллад, которым вышел срок).

В первой трети текста нужно, чтобы  
Было что взрывать.  
ЧТО!

За этим ЧТО смотрите в оба!  
Здесь продешевить,  
как проиграть.

Чтоб оно стояло!  
Чтобы стыло <...>.

Дальше — хуже (о партии), но насчёт последней балладной трети снова процитируем:

Третья треть, последняя — взрывная.  
И её планировать — нельзя.  
Точных траекторий мы не знаем,  
По каким осколки проскользят.

В написанном лет через пять-десять после «Современной теории баллады» стихотворении «Баллада»<sup>32</sup> на месте партии уже просто «политика»:

Чтоб меж них<sup>33</sup> была одна политика —  
Этот новый двигатель баллад.

А вот со «взрывом» последней трети проясняется, и это совсем не тот «взрыв», что можно ожидать, а (и так и будет у него впредь: концовки какие-то не боевые, не взрывные, а наоборот, словно сворачивающие разговор на полуслове или эдак поворот в сторону, вовне<sup>34</sup>) нечто вроде «озарения» Рембо или «еписфании» Джойса — тихое проникновение во что-то по-настоящему важное, вечное, дающее почувствовать, что такое на самом деле жизнь:

Всё казалось: две строфы осталось,  
Чтоб в лицо бессмертью посмотреть.

<...>

Он, как сталь выдерживает пробу,  
Выдержал балладу из баллад.

Ну и ещё там возникает слово «темп», подкрепляющее и раскрывающее характеристику «скоростные» для его баллад. Темп не означает, что баллады нужно непременно тарабанить, он значит «ничего лишнего» — в «К истории моих стихотворений» Слуцкий говорит: «Так я тогда учился немаловажному искусству вычеркивания, искусству, дающемуся так редко. Поэты куда лучше меня — скажем Маяковский — его так и не освоили. Жизнь, которою я жил четыре года (военных — А. К.), была жестокой, трагичной, и мне казалось, что писать о ней нужно трагедии, а поскольку настоящих трагедий я писать не мог, писал сокращённые, скомканные, сжатые трагедии — баллады»<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> И тоже не включённом в книги, а опубликованном лишь в 1983-м (в журнале «Знамя»).

<sup>33</sup> «Двух противников, двух беспощадных, / Ненавидящих друг друга двух».

<sup>34</sup> Слуцкий так и называет свой жанр: или, как мы видели, «скоростные баллады», или «баллады с концовками»: «Стихи я тоже писал мало. Весь мой запас, накопленный в 1948–1952 годах, — два или три десятка главным образом баллад с концовками. Я их знал наизусть, от строчки до строчки, и читал часто с удовольствием» (тоже мемуарная проза начала 1970-х — «После войны», — вошедшая в «О других и о себе» [с. 181]).

<sup>35</sup> «О других и о себе», с. 192.

Не партия, не политика, трагичность жизни как таковой — вот итоговое заключение Слуцкого, что составляет для него жанровую сущность баллады<sup>36</sup>. Итоговое — но появляющееся, в других словах, формулировках, значительно раньше, лет за двенадцать-тринадцать до этого. Балладу, что приведу сейчас целиком, ибо в ней Слуцкий говорит и о своей теме и о своём месте в поэзии, и о методе, Болдырев относит к стихам 1959–1961 гг.:

Меня не обгонят — я не гонюсь.  
Не обойдут — я не иду.  
Не согнут — я не гнусь.  
Я просто слушаю людскую беду.

Я гореприёмник, и я вместительней  
радиоприёмников всех систем,  
берущих всё — от песенки обольстительной  
до крика — всем, всем, всем.

Я не начальство: меня не просят.  
Я не полиция: мне не доносят.  
Я не советую, не утешаю.  
Я обобщаю и возглашаю.

---

<sup>36</sup> Что в принципе, и «концовка», ничуть не выламывается из терминологического понятия баллады как «...» одного из видов лиро-эпической поэзии: повествовательной песни с драматическим развитием сюжета, основой которого являются необычный случай или необыкновенная история, отражающая сущностные моменты взаимоотношений человека и общества, людей между собой, важнейшие черты человека» («Словарь литературоведческих терминов», любой). Как и то, что «Для баллады характерен относительно небольшой объём, выраженная сюжетность «...» и «...» часто присутствует элемент загадочного, необъяснимого, недоговоренного.

По происхождению баллады связаны с преданиями, народными легендами, соединяют черты рассказа и песни», — всё именно так в стихах Слуцкого. А вот это жанровое «соединение рассказа и песни», стиха и прозы, прозаизация стиха — вообще магистральный вектор в литературе XX века. Не случайно ж так похожи на баллады стихи Кавафиса, и Киплинг, ещё один великий прозаизатор стиха на рубеже XIX и XX-го, столь тяготел к этому жанру: сборник «Казарменные баллады» (1892) и последующая целая серия «The Ballad of...», из которых («Баллада о Боливаре», «Баллада о царской шутке» и т. д.) самая знаменитая — «Баллада о Востоке и Западе».

Я уметаю в краткие строки —  
в двадцать плюс-минус десять строк —  
семнадцатилетние длинные строки  
и даже смерти бессрочный срок.

На всё веселье поэзии нашей,  
на звон, на гром, на сложность, на блеск  
нужен простой, как ячная каша,  
нужен один, чтоб звону без.  
И я занимаю это место.

Эта метафора гореприёмника не единственная, которую себе придумал Слуцкий, она ситуативна для данной баллады, а в другой — «ночной таксист»<sup>37</sup> (из стихов 1977-го, т. е. последних, после которых он уже до самой смерти ничего не напишет), в третьей, подыскивающей метафоры<sup>38</sup>, их много:

37

Я ночной таксист. По любому  
знаку, крику  
я торможу,  
открываю дверцу любому,  
и любого отвожу.  
<...>  
Я ночной таксист. За спиной  
пассажир словоохотливый,  
Видный в зеркало очень отчётливо,  
поболтать он хочет со мной.

38 Вообще б этим словом надо аккуратнее со Слуцким:

Своим стильком плетения словес  
не очарован я, не околдован.  
Зато он гожд, чтобы подать совет,  
который будет точным и толковым.

Как к медестринской гимнастёрке брошка,  
метафора к моей строке нейдёт.  
Любитель порезвиться понарошку  
особого профиту не найдёт.

Но всё-таки высказываю кое-что,  
чем отличились наши времена.  
В моём стихе,  
как на больничной койке,  
к примеру,  
долго корчилась война.

Что там ни толкуй учёный олух,  
я анатом, а не физиолог.  
Не геолог я — промысловик.  
Обобщать я вовсе не привык.

⟨...⟩

Фактовик, натуралист, эмпирик,  
а не беспардонный лирик!  
Малое знаточество своё  
не сменяю на враньё.

Эту балладу, которая так и называется — «Метод», из книги «Доброта дня» (1973), Болдырев характеризует как «⟨...⟩ одно из точнейших изложений творческого кредо Слуцкого»<sup>39</sup>, и если так, то оно за прошедшие двенадцать-четырнадцать лет существенно поменялось, потому как «Метод» весь против обобщений (до «Обобщать я вовсе не привык» говорится «Обобщения легки, как дым, / не оттянут мышцы, словно гири. / Предоставим это молодым»), а в «Меня не обгонят — я не гонюсь...», помним, ещё «Я не советую, не утешаю. / Я обобщаю и возглашаю». Возможно, Слуцкий дискутирует с собой, и в «Предоставим это молодым» имеем в виду себя тоже. Но дело не в этом, обобщения («Мир абстракций» в этой балладе) противопоставляются фактам («Факты накопились и скоплялись, / друг за дружку иногда цеплялись ⟨...⟩»), и Слуцкому важно заявить, что он именно «фактовик», документалист. Хорошо, принимаем это, но куда серьёзнее фактографичность, стиль изложения фактов, «ячневая каша» в «Меня не обгонят — я не гонюсь...». «Каша» — это не то чтобы шутка, в написанном примерно тогда же, что и «Меня не обгонят — я не гонюсь...»<sup>40</sup>, «О книге “Память”», т. е. своего рода

О ней поют, конечно, тенорами,  
но и басами хрипылыми поют,  
я — слово, а не пропуск в телеграмме,  
которую грядущему дают.

(«Своим стиликом плетения словес...» из «Годовой стрелки» [1971]).

<sup>39</sup> Болдырев Ю. Примечания. — В кн.: Слуцкий Б. Т. 2, с. 559.

<sup>40</sup> И вошедшем в книгу «Работа» (1964).



Р. С'ом, или ответом критикам<sup>41</sup> (как можно понять и из последней строчки), тоже — «каша», «крупа»:

Мало было строчек у меня:  
тыщи полторы. Быть может — две.  
Все как есть держал я в голове.

Скоростных баллад лихой набор!  
Место действия — была война.  
Время действия — опять война.

В каждой — тридцать строчек про войну,  
про ранения и про бои.  
Средства выражения — мои.

Говорили: непохож! Хорош —  
этого никто не говорил.  
Собственную кашу я варил.

Свой рецепт, своя вода, своя крупа.  
Говорили, чересчур крута.  
Как грибник, свои я знал места.

Собственную жилу промывал.  
Личный штамп имел. Своё клеймо.  
Ежели дерьмо — моё дерьмо.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> А критики славно поругивали первую книгу Слуцкого за прозаизацию лирики и дегероизацию военной темы, Болдырев пишет: «... читатель встретил книгу восторженно, в отличие от тогдашней критики. Названия рецензий и реплик говорили сами за себя: “Дверь в потолок” (С. Островой; ЛГ, 1958, 4 февр.), “Ложные искания” (А. Дымшиц; Звезда, 1958, № 6) и т. п. А. Дымшиц, как и В. Назаренко, А. Эльяшевич, А. Софронов, Н. Вербицкий, находил в стихах Слуцкого “черты эпигонства”, “отсутствие боевой партийности”, “нарочитое снижение героики”. Был среди негативных откликов и стихотворный — “Моя судьба” Сергея Баренца (Сов. воин, 1958, № 11)» (Болдырев Ю. Примечания. — В кн.: Слуцкий Б. Т. 1, с. 513). И ещё один ответ им с «кашей» — в «Неча фразы подбирать...» (рубж 1960–1970-х): «Всё, что мог, — совершенно, / выхлебал всю кашу. / Совершенно всё равно, / как об этом скажут».

<sup>42</sup> И в целом Слуцкий, что бы ни говорили, вот совсем не коллективист, противопоставление «я — вы», «я — они» одно из самых опорных для его самопознания и — определения. Он знает своё место, знает, что делает в и для поэзии, и прёт, как медведь (в хорошем смысле), и огрызаясь, как медведь, — когда его пытаются скорректировать в направлении:

Ох, не удержусь, процитирую тут же:

Как ни посмотришь, сказано умно —  
ошибок мало, а достоинств много.  
А с точки зренья господа-то бога?  
Господь, он скажет: «Всё равно говно!»

— из написанного почти тогда же, в 1957–1958-м, «Уменья нет сослаться на болезнь...»

Я клоню к тому, что каша заваривалась в Харькове, во всяком случае многие ингредиенты отсюда. Ну или рецепт. Или как минимум приправа. Закваска. Во вступительной статье к трёхтомнику Болдырев пишет — «соус»: «Харьков, бурный послереволюционный Харьков, тогдашняя столица Украинской республики, крупный промышленный, литературный, научный, театральный центр, очень много значил в становлении человека, а в конечном счёте и поэта Бориса Слуцкого <...>. И первое, что вдохнул в него

Разговаривать неохота  
Ни обрадованно, ни едко.  
Я разведка, а вы пехота.  
Вы пехота, а мы разведка.

Мы окопов ваших не строим.  
Мы не ходим державным шагом.  
Не роимся вашим роем  
Под развёрнутым вашим флагом.

Вы — хорошие. Мы — другие.  
Мы — без денег и без моторов.  
Мы — не чёрная металлургия.  
Мы — промышленность редких металлов.

Мы — выигрыш. Вы — зарплата.  
Вы — нормальные, вроде плана.  
Мы — цветастые, как заплатка  
На дырявой спине цыгана.

Уважаю вашу дельность,  
Сметку, хватку, толковость, серьёзность,  
Но люблю свою отдельность,  
Единичность или розность.

Это тех же лет, что и «Меня не обгонят — я не гонюсь...», по сути чуть ли не антисоветское даже. Но уж точно антиколлективистское.

этот ставший ему родным город «...», — был демократизм<sup>43</sup>,<sup>44</sup>, «Второе, чем Слуцкий во многом обязан Харькову, был русский язык, вернее, то острое ощущение русского языка, которое он пронёс через всю жизнь. Многоязычие этого восточнoукраинского города, его языковой демократизм, о котором сам Слуцкий впоследствии ярко рассказал в стихотворении “Как говорили на Конном базаре?..”. Русский язык был в Харькове своим наравне с украинским (издавна Харьков почитался едва ли не самым “русским” городом на Украине), он перемешивался не только с украинским, но и с еврейским, немецким (на Украине было много немецких поселений), армянским, греческим, он варился и вываривался в этом странном соусе, менялся, развивался, в общем жил живой, быстрой и наглядной жизнью. Живи Слуцкий в Веллкороссии, где историческое движение русского языка спокойнее, величавее и незаметнее, возможно, он и не заметил бы этих процессов, не увидел текучести, изменчивости, даже взрывчатости речи, и его собственный поэтический язык был бы более сглаженным, обычным и, если так можно сказать, ожидаемым»<sup>45</sup>. Очень точно, особенно — «варился и вываривался». Единственное — греки всё-таки на юге Украины, я бы заменил их здесь цыганами, тем более что в «Как говорили на Конном базаре?..» цыганский — один из четырёх языков (не считая мата): русский, украинский, идиш и он, — составляющих общий и уже единый «говор базара», который «Крепче и цепче всех языков»<sup>46</sup>:

<sup>43</sup> Болдырев имеет в виду, и далее говорит об этом, но другими словами, что Харьков — плавильный котёл, сословий и народов.

<sup>44</sup> Болдырев Ю. «Выдаю себя за самого себя...» — В кн.: Слуцкий Б. Т. 1, с. 6.

<sup>45</sup> Там же, с. 7–8.

<sup>46</sup> А вообще же, вне «говора базара» у Слуцкого, но в его время в плавильном котле Харькова — караимы, чья кенасса (или точнее, «караимская синагога», ибо кенассами их молитвенные дома стали называться после 1911 года) появилась в Харькове ещё в 1893-м (и сегодня в континентальной Украине единственная работающая, т. е. возвращённая после СССР караимской общине; две других работающих — в Евпатории), татары (во времена Слуцкого в Харькове было две мечети, соборная и обычная, обе разрушены, соборная восстановлена в 2006-м) и поляки, которые, по переписи 1926 года, были в Харькове на четвёртом месте после украинцев, русских и евреев, а уже после них шли армяне и немцы. О поляках нужно подробнее, Польшу Слуцкий ещё как любил, она не единожды в его стихах — и даже: «Для тех, кто для сравнения лаком, / я точности не знаю большей, / чем русский стих сравнить с поляком, / поэзию родную — с Польшей» («Покуда над стихами плачут...») [впервые,

но без одной строфы, в журнале «Юность» в 1965-м), и это, кстати, для Бродского «— Мои любимые стихи у моего любимого Слуцкого» [Бек Т. «Расшифруйте мои тетради...» — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 264]), даже во время войны выдавал себя, пользуясь «польской» фамилией, за поляка — чтобы избежать антисемитизма («— У вас польская фамилия, господин майор, — это Павликовский деликатно осведомляется о моей национальности. Узнав, что я полуполяк-полурусский, он обрадованно объявляет о своём полупольском-полунемецком происхождении. И мы обрадованно улыбаемся друг другу. Далее выясняется лёгкий игривый антисемитизм господина епископа — офицерского, кают-компанейского типа» [Слуцкий Б. О других и о себе, с. 153]).

В Харькове вообще много было, да и осталось, польского, считается, что довоенный Киев был украино-русско-еврейско-польским, Харьков то же самое, хоть почему-то о нём так не говорят. А то, что польский у Слуцкого не входит в языки базара, понятно — поляки в торговый класс не входили, занимались другим. Попечитель Харьковского учебного округа Северин Потоцкий (младший брат Яна Потоцкого, автора «Рукописи, найденной в Сарагосе») набрал для только что учреждённого в 1804-м университета профессуру — в Германии, с помощью Гёте (как веймарского министра) и Шиллера, Гёте стал почётным членом Совета Харьковского университета, где первые лет десять обучение велось на немецком и латыни; польский тоже преподавался, лектором польского языка в университет был взят Гулак-Артемовский, основоположник украинской баллады, по матери — из шляхтичей Артемовских, профессор потом, декан словесного факультета, ректор. По его инициативе учредили и кафедру польского языка, на старом здании университета — табличка о его встрече с Мицкевичем, который в 1825-м с месяц жил в Харькове, а памятник, к сожалению, в духе Гурченко, Гулаку-Артемовскому поставили возле нового здания университета в 2017-м, там он сидит на скамейке и рядом птичка. (Ну, не знаю, сравните с памятником Лотману в Тарту.) Ещё одна мемориальная доска на старом здании университета — о том, что здесь на медицинском факультете учился Юзеф Пилсудский. Среди построивших нынешний Харьков на рубеже XIX-го и XX-го архитекторов — поляки Здислав Харманский, Болеслав Михаловский (он спроектировал возведённый в 1892-м новый костёл, а первый, старый, разрушенный во Вторую мировую, появился в 1831-м), родившийся и выросший в Варшаве Виктор Величко — один из самых знаменитых харьковских архитекторов. Первый в Российской империи кинофильм — полутораминутный «Торжественное перенесение чудотворной Озерянской иконы из Куражского монастыря в Харьков» — снял харьковский фотограф, поляк Альфред Федецкий (с начала 2010-х висят таблички на доме, где он жил, и филармонии, тогда оперном театре, где в 1896-м показал свои «движущиеся фотографии»), а четвёртым или пятым фильмом Федецкого были «Народные гуляния на Конной площади в Харькове».

Но есть и другие таблички — с 2008-го на здании СБУ: «На цьому місці було обласне управління НКВД і його внутрішня тюрма. Весною 1940 року рішенням найвищої влади Радянського Союзу НКВД тут убив 3 809 офіцерів Війська Польського з табору в Старобільську та майже 500 польських громадян, привезених з інших тюрем НКВД. Вічна їм пам'ять! Український народ і родини з Польщі» — и «Меморіал жертв тоталітаризма» в Лесопарке, куда вывезли трупы.

Как говорили на Конном базаре?  
Что за язык я узнал под возами?

Ведали о нормативных оковах  
Бойкие речи торговок толковых?

Много ли знало о стилях сугубых  
Веское слово скупых перекупок?

Что  
    спекулянты, милиционеры  
Мне втолковали, тогда пионеру?

Как изъяснялись фининспектора,  
Миру поведать приспела пора.

Русский язык (а базар был уверен,  
Что он московскому говору верен,  
От Украины себя отрезал  
И принадлежность к хохлам отрицал),  
Русский базара — он странный язык.  
Я — до сих пор от него не отвык.

Всё, что там елось, пилось, одевалось,  
По-украински всегда называлось.  
Всё, что касалось культуры, науки,  
Всякие фигли, и мигли, и штуки —  
Это всегда называлось по-русски  
С «г» фрикативным в виде нагрузки.  
Ежели что говорилось от сердца —  
Хохма жаргонная шла вместо перца.

В ругани вора, ракла, хулигана  
Вдруг проступало реченье цыгана.  
Брызгал и лил из того же источника,  
Вмиг торжествуя над всем языком,  
Древний, как слово Данилы Заточника,  
Мат,  
    именуемый здесь матерком.

Все — интервенты, и оккупанты,  
И колонисты, и торгаши —  
Вешали здесь свои ленты и банты  
И оставляли клочья души.

Что же сердчать? И досадовать — нечего!  
Здесь я учился, и вот я — каков.  
Громче и резче цеха кузнечного,  
Крепче и цепче всех языков  
Говор базара.

И добавим: армянский хоть в надъязык базара и не включён, но об армянах в своих «харьковских»<sup>47</sup> стихах Слуцкий пишет — да ещё и как:

Я, сызмальства,  
с Харькова,  
с детства  
узнавший  
армянский рассудок, порядок и чин <...><sup>48</sup>.

Не только Болдырев, к этому все приходят, кто пытается разобраться, откуда у Слуцкого такой непривычный поэтический язык: «<...> язык, воспринимаемый Борисом Слуцким особенно остро, может быть, именно потому, что он вырос в Харькове: здесь сталкивались две языковые стихии — украинская и русская. Один язык на свой лад отражал и преломлял другой, подвергая сомнению абсолютность его норм. И, наверное, это едва ли не ключевой момент, позволяющий глубже войти в поэзию Слуцкого. Её тайная взрывная сила — в антинормативности, порой озадачивающей шероховатостью необработанного камня, проржавевшего металла; в сбоях размера — ради живой

<sup>47</sup> Т. е. (и далее везде так будем подразумевать) не написанных в Харькове, а о нём говорящих.

<sup>48</sup> «Холсты Акопа Коджояна», из книги «Современные истории» (1969).

И в ещё одном — «Последних кустарях» (из посмертной книги «Я историю излагаю...»):

А я застал последних кустарей,  
ремесленников слабых, бедных, поздних.  
Степенный армянин или еврей,  
холодный, словно Арктика, сапожник <...>.

разговорной интонации; в неправильностях, становящихся выразительностью; в использовании речевых ресурсов, аккумулирующих народную память. Экспрессивными средствами, оказывается, могли быть и старинные речения, те же поставленные в именительном падеже “пиво-раки”, и другие языковые “аномалии”: “вспоминая про избы, про жён, про *лошад*”, “*патрон* не додано”, “*вынает* наган”, “не *заробили* себе на паёк” — вульгаризмы, канцеляризмы, украинизмы<sup>49</sup>.

Мочалов говорит: сталкиваются (и вышибают друг друга из норм, из колеи); Болдырев — мягче: «перемешиваются»; а сам Слуцкий и то и другое вместе:

В Харькове Волга русского языка  
 смешивает свои широкие воды  
 с Днeпром украинского языка.  
 В Харькове русские слова  
 выговариваются по-украински.  
 В Харькове думают по-русски,  
 говорят по-русски,  
 но с украинским южным акцентом.  
 Ук<sup>р</sup>а<sup>и</sup>на или Ук<sup>р</sup>а<sup>и</sup>на? —  
 До сих пор не знаю точно.  
 Мы, харьковские, путаем ударенья.  
 Удары шли с севера, с юга.  
 Самый сильный сваливал слово,  
 и после него харьковчане  
 устанавливали ударенья.

<sup>49</sup> Мочалов Л. В знак старинной дружбы... — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 394.

И всё это более чем осознанно — принципиально. Вот аж декларация: «Пишите как следует: / из толпогосого говора, / учтите, что ведают / толковников умные головы: / и старого Даля, / и нового Ушакова, / всё то, что издали, — / толковники очень толковы. // Но более слушайте / не книжную речь, а живую. / То слово, / что чаще пошло вкруговую. / Судью — в приговоре / и стороны — в договоре. / И просто людей / в простом бытовом разговоре. // Из канцелярита — / руды, осуждённой неправильно, / немало нарыто. / Немало потом и наплавлено. // Я — за варваризмы / и кланяюсь низко хорошему, / что Западом в наши / словесные нивы заброшено. / Я за архаизмы. / За летопись! / И — за машинопись. / Словесную вязь / я люблю и словесную живопись. / Деяния, / ранее / не получившие звания, / сдержавши дыхание, / ждут нашего именованья. // А для этого потребуете очень много слов» (из книги «Работа»).

Я говорю неторопливо  
не потому, что обдумываю,  
взвешиваю, примеряю слово,  
а потому, что расставляю  
знаки ударения над каждой гласной.<sup>50</sup>

Конечно, обращает на себя внимание «Мы, харьковские», «харьковчане», нигде больше Слуцкий так однозначно не выражается. Но ему и не надо, для него и так всё очевидно, откуда что берётся, важнее, что другими, и прежде всего хорошими поэтами, его поэтика воспринимается как харьковская — например, у Яна Сатуновского: «Люблю стихи Бориса Слуцкого — / Толковые суждения / Прямого харьковского хлопца <...>»<sup>51</sup> (украинское «хлопец» здесь тоже неслучайно).

Однак продолжим:

Было полтора чемодана.  
Да, не два, а полтора  
Шмутков, барахла, добра  
И огромная жажда добра,  
Леденящая, вроде Алдана.  
И ещё — словарный запас,  
Тот, что я на всю жизнь запас.  
Да, просторное, как Семиречье,  
Крепкое, как его казачьё,  
Громоносное просторечье<sup>52</sup>,

<sup>50</sup> «Ударения», книга «Стихи разных лет: Из неизданного» (1988).

<sup>51</sup> Сатуновский Я. Среди бела дня. М., «ОГИ», 2001, с. 91.

<sup>52</sup> И это не в последний раз, когда у него просторечье, то, из чего варится «каша», сравнивается с казачеством. В написанном почти тогда же (в 1961–1963-м):

Просторечие. Просто речь  
дешёвая, броская,  
но гремучая, словно сечь  
запорожская.

Словно смерд — до княжения  
доработаться нелегко.  
Так вокни́жение, вокниже́ние  
просторечия — нелегко.

Но слепляются грязи — в князи,  
но из хамов бывает пан,  
сохраняющий крепкие связи  
с той избой, где он ел и спал.



Общее,  
Ничьё,  
Но моё.

Было полтора костюма:  
Пара брюк и два пиджака,  
Но улыбка была — неприступна,  
Но походка была — легка.

Было полторы баллады  
Без особого складу и ладу.  
Было мне восемнадцать лет,  
И — в Москву бесплацкартный билет  
Залегал в сердцевине кармана,  
И ещё полтора чемодана  
Шмутков, барахла, добра  
И огромная жажда добра.<sup>53</sup>

Если нужно, можно конкретнее, как Молчанов. О генетично харьковском «ракле» — смотрите статью в конце данной книги; да и не частит с ним Слуцкий: один раз в том же «Как говорили на Конном базаре?..», и больше нигде у него не встречается ни в стихах, ни даже в прозе. «Ракло» — слишком атипичное слово, слишком заостряющее на себе, перетягивающее внимание, аномальное, экзотичное для широкого языка, а Слуцкий как фактовик и эпик (далее покажем) не на аномалиях всё же картину строит, посолить ими кашу — да; чуть-чуть приправить для вкуса, придать остроты, но это не базовый ингредиент<sup>54</sup>.

<sup>53</sup> «18 лет», написано, указывает Болдырев, в 1959–1961-м.

<sup>54</sup> Например, ни разу не встречается в его стихах (но да не весь архив ещё разобран и опубликован) звонкое харьковское, просящееся куда-нибудь в строку «пицик», которым он обзывал друга Самойлова: «Стихи читал громко, отдельно, с характерным южнорусским “г”. От него так и не отучился. Но с придыханием его чтение казалось ещё убедительнее. Ему чужды были поэтические завывания и распевы. Читал убедительно, выделяя смысл, а не ритм, без захлёба, как бы несколько прозаизируя текст. Никто лучше него стихи Слуцкого прочитать не может. Чаше, чем свои стихи, читал вслух чужие. Ставил книгу на место. Говорил: — Вот, пицик, как надо писать. (“Пицик” было харьковское слово, означавшее нечто вроде “несмышлёныш”).» (Самойлов Д. Друг и соперник. — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 80). Сейчас уже умершее, в харьковском обиходе не существующее, не применённое Слуцким в стихах «пицик» так и осталось только в воспоми-

Базовые элементы у него — слова и выражения попроще, обыденней («просто речь»), но если сфокусироваться, правильно, передающие дух времени, раскрывающие через себя общее, важное, характерное. Таким словам Слуцкий иногда может отдать и целое стихотворение (и когда он это делает, нужно понимать, что не зря):

— Стукнемся! — говорили в Харькове  
в 94-й средней школе.

Стукнуться означало: подраться.

Звук, издаваемый юной скулою

при ударе кулака молодого,

сухощав и громогласен,

словно удар доски о полено.

— Стукнемся, — говорили в школе,

улыбаясь уставной улыбкой.

Я говорил: а что же!

В тот монастырь со своим уставом

я не совался. Интересовался

Маяковским или Блоком,

шёл за сарай — куда все ходили,

стукался без разговоров со всеми,

кто вызывал меня на это.

Может, единственное отличие

от инженеров, врачей, доцентов,

всё давно позабывших,

что я единственный из 94-ой

не позабыл специального слова:

«Стукнемся!»<sup>55</sup>

Близко, о том же, но не совсем, связанное с иным параметром духа времени — леденящее ужасом «вывести в люди», центральное как минимум в трёх харьковских балладах:

ваниях Самойлова и больше нигде. И попробуй отгадать, откуда взялось, может, из идиша: «ицик-шпицик» («мальчонок-пострелёнок»), была такая песня, — а может, от украинского «пацан», «пацик», или сращённое «пацик-шпицик» (ещё и «поцик» в коннотациях маячит).

<sup>55</sup> «Стукнемся!», впервые опубликовано (Андреем Крамаренко) в «Авроре», 2018, № 1.

Лоточники, палаточники  
пили  
И ели,  
животов не пощадя.  
А тут же рядом деловито били  
Мальчишку-вора,  
в люди выводя.

Здесь в люди выводили только так.  
И мальчик под ударами кружился,  
И веский катерининский пятак  
На каждый глаз убитого ложился.<sup>56</sup>

И в «Председателе класса», тоже из стихов 1959–1961-го:

На харьковском Конном базаре  
В порыве душевной люти  
Не скажут: «Заеду в морду!  
Отколочу! Излуплю!»  
А скажут, как мне сказали:  
«Я тебя выведу в люди»,  
Мягко скажут, негордо,  
Вроде: «Я вас люблю».

Ещё — в «Добавке» начала 1970-х:

Добавить — значит ударить побитого.  
Побил и добавил. Дал и поддал.  
И это уже не драка и битва,  
а просто бойня, резня, скандал.

Я понимал: без битья нельзя.  
Битым совсем другая цена.  
Драка — людей возвышает она.  
Такая у неё стезя.

Но не любил, когда добавляли.  
Нравиться мне никак не могли,  
не развлекали, не забавляли  
морда в крови и рожа в пыли.

---

<sup>56</sup> Знаменитая «Музыка над базаром» из книги «Время» (1959).

Слушая, как трещали кости,  
я иногда не мог промолчать  
и говорил: — Ребята, бросьте,  
убьёте — будете отвечать.

Если гнев отлютовал,  
битый, топтанный, молча вставал,  
харкал или сморкался кровью  
и уходил, не сказав ни слова.

Ещё называлось это: «В люди  
вывести!» — под всеобщий смех.  
А я молил, уговаривал: — Будя!  
Хватит! Он уже человек!

«Будя» не украинское, белорусское скорее (но это не значит не ассимилированное Харьковом), а украинское часто проходит у Слуцкого как так и надо, без каких-либо объяснений: «Что он хочет? / Кто його зна»<sup>57</sup>, «— Яка ж вона буде, ця війна, / а хто її<sup>58</sup> зна», — или в транскрипции (не факт, что авторской, может, и издательской, редакторской): «— Ой, що робить / з отым нимцем, нашим ворогом!»<sup>59</sup>, — а если есть объяснение, перевод, то оно иронично по отношению к непонимающему:

<sup>57</sup> «Дом в переулке», из стихов 1952–1956-го.

<sup>58</sup> «її», конечно, но так и в трёхтомнике, и в «Знамени», № 1, 1988, где впервые была опубликована баллада («Палатка под Сурпуховом. Война...», из стихов 1959–1961 гг.).

<sup>59</sup> «Как убивали мою бабу», из книги «Работа».

И в прозе тоже: «Однажды утром нас разбудили разведчики. Они были мертвецки пьяны — сложным четырёхчленным ершом. Их командир взвода требовал немедленных реляций. В доказательство предъявлялись два пленных — первый трофей взвода за всю венгерскую зиму. Я заметил, что один из пленных ухмыляется в кулак. Мужичкий сарказм его улыбки показался мне таким земляческим, що я спытав: “Чи не з Ужгороду будеш, друже?” — “Та ни, пане майоре, я сам мукачевский”. И вот мы сидим в столовой, земляк хозяйственно, с двойным перехилом рюмки глотает спирт, рассказывает» («Записки о войне». — В кн.: *Слуцкий Б.* О других и о себе, с. 90). Не сразу понятное «перехил» объяснено Петром Гореликом в примечаниях: «— Перехил (укр.) — перелив» (с. 263), — имеется в виду в горло из рюмки; само же «перехил», по-видимому, больше украинско-харьковское, чем украинское, потому как в украинских словарях отсутствует: есть «нахил» («наклон») и «перехилляти» («наклонять» и разговорное «опрокидывать» в значении «выпивать»), — а для харьковчанина Горелика «перехил» привычно и очевидно.

«Озеленению и украинизации / мы подчинялись как мобилизации / Мы ямы рыли, тополя сажали, / что значит “брыли” мы соображали. / Над “і” мы точку ставили и кратко / те точки называли “кrapки”. / Читаю “Кобзаря” без словаря / и, значит, ямы я копал не зря. / И зелен Харьков (был когда-то голый), / и, значит, я не зря учил глаголы»<sup>60</sup> или — тоже об озеленении и украинизации: «Смотреть, как наши деревья растут. // Как тополь (по-украински — явор), / Как бук (по-украински — бук) / Растут, мужают. / Становится явью / Дело наших собственных рук». Вообще-то здесь Слуцкий уже по-настоящему издевается: «тополь» по-украински так и будет «тополь», вернее, «топо́ля», и Слуцкий, само собой, не может этого не знать, в том числе и потому что «Кобзаря» без букваря, а там, в «Кобзаре», — баллада (кстати) «Тополя», причём она одна из тех восьми текстов, составивших самое первое издание «Кобзаря» (в 1840-м), который затем расширялся и расширялся, — поэтому, так сказать, костяк. Ну а «явор» — он и по-русски «явор», клён ложноплатановый или белый, до речи, по-украински он всё-таки «явір», и похоже, в тексте изначально так и было (ведь «явір/явью» лучше ж звучит, чем «явор/явью»), а Слуцкого и тут подредактировали при издании этой баллады<sup>61</sup>. Или возможно, даже так: вначале у Слуцкого было «Как явор (по-украински — явір), / Как бук (по-украински — бук)», — а потом он сам решил, что всё это слишком просто и гладко — симметриченько, — и спутал нам карты<sup>62</sup>. Самойлов пишет: «Он и стиху учился у левых поэтов 20-х годов. Будучи любителем систематизации, стих он искал без систем, вне традиционных ритмов, рифм и образов. Он хотел писать нетрадиционно. <...> Мне казалось, что в ту пору Слуцкий не отпускал стиха на волю, а постоянно производил над ним формальное усилие. Однажды спросил [Слуцкого — А. К.]: — Не надоело тебе

<sup>60</sup> Опубликовано Болдыревым в газете «Вечірній Харків» 23 мая 1989 г. «Брыль», к слову, тоже украинско-белорусское, крестьянское («Селянин у брилі» — рисунок Шевченко, чей «Кобзарь» здесь, у Слуцкого, как и «брыли», указывает на крестьянский труд горожан, вернее, уравнивает их, и шире — голодную деревню и не такой голодный город. Но это я уже спойлерю, о чём дальше будет).

<sup>61</sup> «Деревья и мы», из книги «Сегодня и вчера».

<sup>62</sup> А может, рабочий вариант — ещё до рифмы «явью» — был «Как тополь (по-украински — тополь)», потом появилась «явь» и вариант с «явором», и Слуцкий решил сконтаминировать — и чтоб поиграться, и чтоб *sapienti sat*.

ломать строку о колено? Ответил: — А тебе не надоело не спотыкаться на гладком месте?»<sup>63</sup>

Всё так, Слуцкий вырос на футуристах, но Горелик и Елисеев видят в этом «ломании о колено» дополнительно ещё и украинский след: «Немалую роль в поэзии Бориса Слуцкого сыграло то обстоятельство, что стихи, написанные на украинском языке, были для него так же привычны, как и русские. Тоническая украинская и польская система стиха была для него так же близка, как и силлабо-тоническая русская. У него на слуху были и ямб, и хорей, и трёхстопные размеры, но так же естественен для него был и ритм стихов Шевченко. Многочисленные упреки в корявости, неблагозвучии стихов Слуцкого были связаны с тем, что он вносил в русский стих начала иной поэтической системы. Когда Анна Ахматова говорила о “жестяных” стихах Бориса Слуцкого, она имела в виду и это непривычное звучание стиха. Оно же привлекало к Борису Слуцкому знатоков и специалистов-стиховедов, с первой его книжки почувствовавших новое явление в русском стихе. Оно и впрямь было новым, а не пыталось новым казаться <...»<sup>64</sup>

И — фольклор, украинский фольклорный стиль: «Концентрация однокоренных слов, переносы ударения, — этому, как и многому другому, Слуцкий учился у фольклора, о котором знал не понаслышке. Из рабочей тетради Слуцкого: “Украинский крестьянин, сочинивший четверостишие о казаке, не только дерзко изменял ударения, не только дал глубокие рифмы и т. д., но дерзнул и на то, чтобы ласкательный, уменьшительный суффикс, естественный в слове ‘дівчинонька’ (девчѐнушка) и в определении этой ‘дівчиноньки’ — ‘чорнобривенька’, употребить и в слове ‘война’. ‘Війнонька’, то есть войнушка, войночка! Так сказать, подчинить любви войну даже в грамматическом отношении. Был ли в те времена на Украине книжный поэт, равный ему по таланту и дерзости? Не было”<sup>65</sup>.

<sup>63</sup> *Самойлов Д.* Друг и соперник, с. 82.

<sup>64</sup> «По теченью и против теченья...», с. 35.

<sup>65</sup> *Сухарев Д.* Скрытопись Бориса Слуцкого. — «Вопросы литературы», 2003, № 1; со ссылкой на: Борис Слуцкий. «А вдруг найдётся нота громовая?» — «Литературная газета», 1986, № 36.

А «Їхав козак на війноньку» таки не фольклорная, а под фольклор, «книжного поэта» — коллектива Р. Купчинского, М. Гайворонского, Л. Лепкого, И. Иванца, Т. Мойсейовича, Л. Новины-Розлуцкого, — написанная в 1915-м среди многих песен для Украинских сечевых стрельцов, но да, быстро ставшая народной и разошедшая-

Не стоит забывать и об идише — для харьковского «языка базара», по Слуцкому, одним из четырёх базовых, что в «Как говорили на Конном базаре?..» отвечает за чувства, эмоции: «Ежели что говорилось от сердца — / Хохма жаргонная шла вместо перца» (украинский, напомним, за жизнеобеспечение, физиологию: «Всё, что там елось, пилося, одевалось, / По-украински всегда называлось»); русский — за мозговую деятельность: «Всё, что касалось культуры, науки, / Всякие фигли, и мигли, и штуки — / Это всегда называлось по-русски», — но не абстрактную, а вполне прагматичную, для нужд физиологии: «С “г” фрикативным в виде нагрузки»; ну и цыганский — что там осталось в спектре человеческого — для социализации: «В ругани вора, ракла, хулигана / Вдруг проступало реченье цыгана. Брызгал и лил из того же источника, / Вмиг торжествуя над всем языком, / Древний, как слово Данилы Заточника<sup>66</sup>, / Мат, / именуемый здесь матерком»).

Сердечный язык, даже два, включая иврит, Слуцкий знал с детства. Его племянница Ольга Фризен, дочь его брата Ефима, в интервью рассказывает, что Слуцкий рос в семье, ««...» где родители говорили на идише, отмечали еврейские праздники и тайно обучали своих мальчиков ивриту — видимо, собирались уехать в Палестину. Братья деда (рассказчицы; т. е. отца Бориса Слуцкого — А. К.) перебрались туда ещё в 1919 или 1920 г. Шла переписка, и бабушка поинтересовалась, смогут ли её дети получить там хорошее образование. Ответ, видимо, не был конкретным, что её не устроило, и в Палестину не поехали<sup>67</sup>». Сам Слуцкий в неопубликованном

---

ся так по сборникам (в том числе в СССР, где публиковалась то как «козацька пісня», то в «Піснях Червоної Армії»).

К слову, «песня сечевых стрелцов» не значит нехарьковская, и Слуцкому явно был знаком её прототип с тем же один в один зачином и сюжетом «Їхав козак за Дунай», тоже ставшая народной, «фольклорной», а написанная казаком Харьковского слободского полка, жившим в XVIII веке Семёном Климовским, и разошедшаяся по миру так, что её положили на музыку Бетховен, Вебер, Гуммель и мн. др.

<sup>66</sup> Он здесь тоже не ради красного словца, а чтобы в связи с хулиганом мелькнула в картинке заточка, а в контексте — тюрьма, заточение. Ну и «Слово Даниила Заточника» как таковое: живое, использующее «просто речь»; ругательное, осуждающее бояр и попов; и с жалобами на нищету — прям и есть один в один язык базара, тот же, как говорит Слуцкий, «источник».

<sup>67</sup> С палестинскими, потом израильскими родственниками Слуцкий не контактировал, тем более что его двоюродный брат Меир Амит в шестидесятые был начальником израильской военной разведки и директором Моссада, однако они им,

пока автобиографическом очерке<sup>68</sup> говорит: «Мать очень рано запустила меня на несколько орбит сразу. Музыкальная школа. Древнееврейский язык. Позднее — английский», — и в одной из последних баллад (1977 г.) «Переобучение одиночеству»: ««...» выучив некий древний язык / до свободного чтения текста», правда, потом забыл всё, кроме двух слов — «небеса» и «яблоко». Тем не менее, под его редакцией в начале 60-х вышел первый в СССР сборник поэзии Израиля<sup>69</sup>, а с идиша Слуцкий сам, много, переводил<sup>70</sup>.

Но еврейство Слуцкого всё же физиологически украинское, «Всё, что там елось, пилось, одевалось «...»» находит продолжение (или начало, потому что неизвестно, когда то, что процитирую, написано, Слуцкий, как правило, не датировал же стихи) в загадочном и откровенном:

Украинские евреи, которые лезут всюду  
и то ли бьют посуду, то бьются, как посуду.  
Вскормили их галушками, вспоили их борщом.  
Копейками, полушками не брезгают нипочём.

А русские евреи, они скорее умрут,  
чем ниже архиерея должность себе подберут.  
Они почему-то — гордые и даже с побитой мордюю  
следят за самой последней, за самой модной модюю.<sup>71</sup>

О том, что он «вспоен борщом», Слуцкий ещё раз скажет в «Преодолении головной боли» (из книги «Неоконченные спо-

---

по-видимому, гордились: в том же интервью (Оксман А. «Я, рождённый в сорочке, сорочку променял на хорошую строчку...» К 30-летию со дня смерти Бориса Слуцкого. — «Еврейская панорама», 2016, 30 января [<http://evrejskaja-panorama.de/ja-rozhdenij-v-sorochke-soroshku-promenjal-na-horoshuju-strochku-135850860/>]) Ольга Фризен вспоминает, что побывав в гостях у Меира Амида, увидела «На стеллажах — все книги дяди Бори, которые выходили у нас и у них».

<sup>68</sup> Хранящимся в РГАЛИ. Цитату приводят П. Горелик и Н. Елисеев («По течению и против течения...», с. 14).

<sup>69</sup> Поэты Израиля / Пер. с иврита, идиш и арабского под ред. Б. Слуцкого. М., «Изд-во иностр. лит.», 1963, 293 с.

<sup>70</sup> «Электронная еврейская энциклопедия» перечисляет: «И. Борухович, А. Вергелис, Ш. Галкин, М. Грубиан /1909–72/; Л. Квитко, А. Кушниров, Х. Малтинский, А. Шварцман, Я. Штернберг» (<https://eleven.co.il/jews-of-russia/in-culture-science-economy/13851/>).

<sup>71</sup> «Иерусалимский журнал», 2017, № 57. Публикация А. Крамаренко.



ры» [1978]): «Вкус мною любимого борща, / харьковского, с мясом и сметаной, / тот, что, и томясь, и трепеща, / вспоминал на фронте неустанно <...>» А загадочное, на первый взгляд, противопоставление украинских и русских евреев по физиологичности/ номенклатуре не так уж и загадочно с учётом, что сам Слуцкий всегда был аноменклатурен; честолюбив, но не карьерист.

Итак, Слуцкий в Харькове, Харьков в Слуцком, эпос детства, который он запечатлел или создал. Но сначала оговорочка — чтоб не пересластить — о нелюбви к Харькову. Харьков любить не нужно, его и не любят, ни Гурченко, ни другие родом из Харькова<sup>72</sup>, и чаще признаются в нелюбви к нему, чем в любви. Вернее как — в Харькове замешано многое, и то, что неприятно вспоминать и себя с этим ассоциировать, но оно тоже составляет его сущность, поэтому, вошедшее в кровь, неотторгаемое, будет всегда напоминать о себе изнутри. Не то чтобы Харьков, красивый для приезжих, не место для жизни, нет, он именно место для жизни, любви и ненависти, сложного чувства, которое нефальшиво выразить только с одной стороны не удаётся<sup>73</sup>, и — раз мы упоминаем памятники, то эту специфическую «харьковскую любовь» хорошо проясняет Памятник влюблённым (что с 2002-го на площади Архитекторов, место для встреч и фотографирования), где влюблённые, тянущиеся друг к другу аркой и застывшие в поцелуе, до того худы, истончились, что памятник в народе называют «Камасутрой Освенцима» и «Приветом из Бухенвальда». («Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», да?)

Что Слуцкому вспоминать неприятно, но он это постоянно вспоминает и воспевает, это базар, конечно, — и всё, что с ним связано, из чего он состоит: грязь<sup>74</sup>, ложь и смерть (убийство) — «по-

<sup>72</sup> Лимонов, например, известно, как не любящий Харьков — но любящий войну, и когда она пришла в Украину, один раз прилюдно полюбивший: «Пепел Харькова стучит в моё сердце» (ЖЖ Эдуарда Лимонова от 16.11.2016 [<https://limonov-eduard.livejournal.com/968656.html>]).

<sup>73</sup> Поэтому «Любить Харьков — работать для людей», слоган Кернеса, что везде, на клумбах и троллейбусах, фальшивит вдвойне.

<sup>74</sup> «Музыка над базаром»:

Я вырос на большом базаре,  
в Харькове,  
Где только урны  
чистыми стояли,

зорная погань» («Среди позорной погани базарной»<sup>75</sup>). «Позорная погань» — слова взрослого, рефлексирующего и не могущего отделить себя от Харькова лирического героя Слуцкого, Слуцкий-маленький, «выросший» «на базаре», чувствует себя в нём, как дома<sup>76</sup>, точнее, чтобы развести дом и базар, как рыба в воде — естественно: «В тех же, хранящихся в архиве, воспоминаниях о детстве Слуцкий писал: “... Харьков сейчас не люблю. А тогда в детстве любил, наверное. Во всяком случае, я его помню”»<sup>77</sup>.

И как мы развели дом и базар, так развёл их сам Слуцкий, добавив ещё два сектора, о которых говорит, будто о частях света в детстве:

Жизнь, состоявшая из школы,  
семьи, и хулиганской улицы,  
и хлеба, до того насущного,  
что вспомнить тошно<sup>78</sup> «...»

---

Поскольку люди торопливо харкали  
И никогда до урн не доставали.

Я вырос на заплёванном, залузганном,  
Замызганном,  
Заклятом ворожкой,  
Неистойвою руганью  
заруганном,  
Забоженном  
истойвой божбой.

<sup>75</sup> Там же.

<sup>76</sup> Немного другое объяснение вопроса см. в статье «“Время” — “бремя”. Базар» в конце книги.

<sup>77</sup> Горелик П., Елисеев Н. «По теченью и против теченья...», с. 15. На месте моего «...» там «Обязательно ли любить свой город? Нет. Страну — да. Город — нет. Мать — обязательно. Тётку — необязательно. Язык — да. Скульптуру — нет» — иначе говоря: язык базара — да; скульптуру, натуру базара — нет. И ещё: как ни неожиданным это покажется, под страной тут может подразумеваться не весь СССР, а конкретно Украина: ср. «Мы отвоевали Украину — страну, насчитывавшую до войны полуторамилионное еврейское население» (Слуцкий Б. О других и о себе, с. 123) и «...Ещё столица Харьков. Он — / ещё владычен и державен. / Ещё в украинской державе / генсеком правит Косиор» («Трибуна», книга стихов «Судьба» [1990]). Слуцкий же вырос в столице Украины, для него нормально воспринимать Украину как страну. И то, что Харьков — столица, вполне для Слуцкого предмет гордости и самосознания: см. «Три столицы (Харьков — Париж — Рим)», о котором речь зайдёт дальше и где столицы единственно в названии, а так оно совершенно об ином.

<sup>78</sup> «Читали, взглядывая изредка...» (сборник «Я историю излагаю...»).

— а пятая часть, вроде иномирия: чтение, литература, включая историю («историографию» — в балладе), — хочется сказать «над», но у Слуцкого «под» всем этим:

Поверх томов, что мы читали,  
мы взглядывали, и мы вздрагивали:  
сознание остерегалось,  
не доверяло бытию.

Хотя — амбивалентно, верх, низ тут же меняются местами в следующей, заключительной строфе:

Мы в жизнь свалились, оступившись  
на скользком мраморе поэзии,  
мы в жизнь свалились подготовленными  
к смешной и невесёлой смерти.

Но начнём с начала, с того, что готовило не к смерти, а к жизни и составляло её. По порядку первым будет дом — семья; о «хулиганской улице», т. е. базаре, уже сказано и скажем ещё в статье в конце книги, что же касается «хлеба» и «вспомнить тошно», оно тоже будет связано с базаром, напрямую, но в стихах Слуцкого и не напрямую, повсеместно. Да и со всем.

«В Харькове Слуцкие жили на пролетарской окраине<sup>79</sup>, в районе Плехановки<sup>80</sup>.

<sup>79</sup> Сейчас-то уже нет, и вообще — полчаса, ну, сорок минут пешком до центра, два с половиной км, а тогда действительно — край города: всё, шлагбаум, Немышлянская слобода. То, что это окраина, — в самосознании Слуцкого и его стихах: «В дни, когда молодым и зелёным / На окраине Харькова жил!» («Воспоминание», из «Сегодня и вчера»), «Мы — ребята рабочей окраины Харькова, / дети наших отцов, / слесарей, продавцов, / дети наших усталых и хмурых отцов <...>» («Моя средняя школа», из «Доброты дня») и др. Базар базаром, но как видим, не он один, не в чистом виде формировал Харьков Слуцкому. Базар Слуцкого, Конный, в Харькове же их много, ещё и ярмарки сезонные крупные были, — это базар в пролетарском районе на окраине, и все эти факторы важны для понимания его стихов, почему они такие окраинные по сути, не о тех важных, что нужно большой поэзии, вещах («Озадачил меня вопросом: нет ли провинциальности в его стихах? Я не сразу сообразил, о чём речь. Видимо, он опасался, что приверженность к житейской прозе, её негромким подробностям может восприниматься как провинциальность, “пережитки” харьковского детства» — Кардин В. «Снова нас читает Россия...» — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 146), лаконичны и как бы суровы пролетарски, но «как бы» — вмешался своей ухмылочкой базар. Ухмылочка у Слуцкого везде, бывает, горькая, бывает, выскомерная, бывает, её нет, сошла, но всё равно чувствуешь — недавно была тут.

<sup>80</sup> В раннем детстве Слуцкого её ещё называли, как до 1919-го — Петинской улицей, и местность вокруг — Петинкой, а район, административный, был Петин-

*Убогий коммунальный одноэтажный дом напоминал кирпичный барак. Фасадом своим он выходил на площадь знаменитого Конного базара.*

В эпоху нэпа, в дни его разгара  
Я рос и вырос на краю базара.<sup>81</sup>

ско-Журавлёвским до 1924 года, затем стал Краснозаводским («Первым и в соседстве и в родстве / И в Краснозаводском районе / Жил я только на стихи / Как же быть могли они неправдой?» [«Это правда», первая публикация — в «Новом мире» в 1978-м]). На Петинской-Плехановской расположен и главный завод Харькова, тогда — паровозостроительный, сейчас — имени Малышева.

<sup>81</sup> А дальше:

Меня на мелочь медную обменивали,  
А я-то думал — на большие деньги.  
Меня обвешивали и обмеривали.  
И эти годы — никуда не денешь.

С волками жил я, притворялся волком.  
Им лапы жал, на улице раскланивался.  
Но если ошибался я, обманывался —  
Так ведь меня обманывали с толком.

Как музыка в базарном репродукторе,  
Я за грехи базара не ответчик.  
Душа, ветрами времени продутая,  
Жила в плену предзнаменований вещей.

То ли репетиция, то ли послесловие к «Музыке над базаром» (а впервые опубликовано в «Континенте» в 1990-м Болдыревым), у Слуцкого есть такие — к «Лошадям в океане» (увидим), «Физикам и лирикам», самым громко разошедшимся или дорогим ему самому стихам, что не отделились от него окончательно, а ещё, верно, продолжали крутиться в голове, требовали каких-то вариаций.

«На краю базара» и «окраина Харькова», как сказано, неслучайные вещи у Слуцкого — и ещё лучше они смыкаются в одной картинке с «в тени завода»:

Я рос в тени завода  
И по гудку, как весь район, вставал —  
Не на работу:  
я был слишком мал —  
В те годы было мне четыре года.  
Но справа, слева, спереди — кругом  
Ходил гудок. Он прорывался в дом,  
Отца будя и маму поднимая.  
А я вставал  
И шёл искать гудок, но за домами  
Не находил.  
Ведь я был слишком мал.

Это баллада «Гудки», её начало, из книги «Память», а завод, скорее всего, «Серп и молот» («Гельферих-Саде» до 1922-го), с 2005 года несуществующий, а в 1920-е, во времена четырёхлетнего Слуцкого, выпускавший ручной и конный сельхозинвентарь, — из крупных заводов он и ещё велозавод ближе всего к дому Слуцкого. Да, точно «Серп и молот»: «По утрам столичный, трудовой Харьков будили гудки заводов. Сначала гудели заводы-ветераны — “Серп и молот” (старожилы называли его по старинке “Гельферих-Саде”) и Харьковский паровозный (ХПЗ). Потом, чуть позже подавал свой голос электромеханический — ВЭК», и сноска: «В двадцатые годы часы для многих ещё были роскошью и люди ориентировались по гудкам заводов» (*Красовицкий Б. М. Столичный Харьков — город моей юности. Х., «Фолио», 2004, с. 23*). Это при том, что мемуарист, профессор-химик Борис Красовицкий [1916–2008], как и Слуцкий, кстати, родившийся не в Харькове, в Сумах, но выросший в Харькове, жил в то время не в заводском, как Слуцкий, районе, а практически в центре — и около другого пупа земли Харькова — Рыбного базара: «В многочисленных ларьках на самом базаре и в магазинах, разместившихся в прилегающих к нему домах, продавались судаки, лещи и карпы; маленькая, но очень вкусная керченская сельдь и большая селёдка — залом. Вся эта снедь наполняла магазины, уставленные лотками и бочками. С раннего утра по нашей улице, по её булыжной мостовой, двигались подводы ломовых извозчиков, перевозивших бочки с рыбой, другие товары. Мы жили в цокольном этаже, где грохот от движения ломовиков был особенно сильным» [там же, с. 19]. А Гурченко, поколением младше, выросшая в виду другого харьковского рынка, пишет в «Аплодисментах» (1987): «Главным местом всех событий в городе был наш Благовещенский базар», — и ещё, в контекст сказанного выше: «В Харькове все говорят с украинским акцентом».

Однако ж, заводы. В «Велосипедах» («Продлённый полдень [1975]; но в трёхтомнике нет) перечисляются они все, большинство, основные:

Важнее всего были заводы.  
 Украины асфальтировали прежде,  
 чем центр. Они вели к заводам.  
 Харьковский Паровозный.  
 Харьковский Тракторный.  
 Харьковский Электромеханический.  
 Велозавод.  
 «Серп и молот».  
 На берегу асфальтовых речек  
 дымили огромные заводы.  
 Их трубы поддерживали дымы,  
 а дымы поддерживали небо.  
 Автомобилей было мало.  
 Вечерами  
 мы выезжали на велосипедах  
 и гоняли по асфальту,  
 лучшему на Украине,  
 но пустынному, как пустыня.  
 Столицу  
 перевели из Харькова в Киев.

То, что называлось квартирой Слуцких, находилось в конце длинного коммунального коридора и представляло собой две среднего размера комнаты, из которых одна не имела окна, а другая, хоть и с окном, была полутёмной. Хлипкий дощатый пол был на уровне земли. Выгороженный занавеской угол для керосинки служил кухней. Но в комнате стояло пианино — приданое Александры Абрамовны<sup>82</sup>. К Слуцким можно было попасть из тёмного коридора, мимо дверей соседей. Уборная была во дворе. Окна дома выходили на базарную площадь, а единственное окно Слуцких — во двор, который был не лучше шумной и грязной базарной площади. Какая-то артель развернула здесь рыбокоптильню. К запахам рыбы примешивался сладковатый запах грохотавшего за стеной маслобойного завода.

Жизнь двора во многом, если не во всём, определялась соседством с базаром.

Жителю современного большого города трудно себе представить базар времен нэпа. Продажа шла с телег. Поставленные впритык телеги образовывали торговые ряды, где продавали молоко, мясо, муку, сено, птицу, скот, домотканное рядно, глиняную посуду; осенью и зимой — дрова. Здесь же на привязи толклись сотни лошадей. <...> На подступах к базару кишели перекупщики, цыгане, мошенники. Базар жил как улей, над которым постоянно стоял русско-украинско-еврейский говор, крик продавцов, обманутых или торгующихся покупателей, пронзительные призывы к справедливости обворованных простофиль, мат и проклятья, рев скота, лай приبلудных собак и свистки милиционеров. Аппетитные запахи свежих продуктов смешивались с вонью редко убирающейся гнили и конской мочи. В примыкавшем к базару со

Мы утешались тем, что Харьков остался промышленной столицей и может стать спортивной столицей хоть Украины, хоть всего мира.

У Красовицкого есть и по этому поводу: «Когда я обращаюсь к своим детским воспоминаниям о городе, передо мной почему-то непременно возникают узкие тротуары с деревянными мостками даже на центральных улицах. Но в середине двадцатых Харьков начал быстро одеваться в асфальт. По всему городу можно было видеть котлы для варки асфальта. Возле них, по вечерам, грелись беспризорные дети, которых в городе было очень много» (там же, с. 49–53). Я же говорю, у Слуцкого чётко эпос.

<sup>82</sup> «Бабушка, Александра Абрамовна (дочь учителя русского языка), окончила гимназию, умела играть на фортепьяно <...>» (Фризен О. Дядя Боря. — «Иерусалимский журнал», 2017, № 57).

стороны Конной улицы<sup>83</sup> вытоптанном сквере и в палисадниках, заросших чахлой акацией, под окнами домов, окружавших базарную площадь, совершались сделки, орали песни пьяные, затевались кровавые драки. На фоне пёстрой картины базара самой отвратительной деталью выглядели вечно пьяные старухи-проститутки.

Двор был продолжением, а в чём-то и началом базара. Многие соседи превратили свои квартиры в подобие складов, где за плату хранились товары, у некоторых были постоянные клиенты. С вечера двор заполняли телеги. Возчики разводили костёр, готовили неизменный кулеш с салом и укладывались на ночь прямо под телегами. Нередко раздавались истошные крики проснувшихся возниц: это дворовые ворюшки пытались стянуть что плохо лежало. В общем, двор жил по законам базара»<sup>84</sup>.

По поводу самого дома и количества комнат у Слуцких — разночтения. Биографы говорят: одноэтажный и две; племянница — о цокольном этаже и четырёх комнатах: «Вскоре семья переехала в Харьков и поселилась в четырёхкомнатной квартире, в цокольном этаже. Правда, в некоторых комнатах были земляные полы, но во времена жилищного уплотнения и это считалось почти роскошью»<sup>85</sup> (в интервью 2006 года; но в статье «Дядя Боря» 2017-го: «Они поселились в районе Конного базара в двух среднего размера комнатах, одна из которых вообще не имела окон, во второй было одно окно на уровне мостовой. Удобства — во дворе...»<sup>86</sup>) — может, и ошибка, памяти или интервьюера, а может, сначала или потом комнат было или стало четыре, семья из пяти человек расширилась в Харькове, у Слуцкого родилась сестра.

Интереснее, чем количество комнат, количество этажей: племянница в интервью рассказывает о цокольном, подразумеваемом надстройку, в статье — об окне «на уровне мостовой»; биограф Пётр Горелик, друг с детства, бывавший у Слуцких, — об одноэтажном, похожем на барак, возможно, не считая цокольный вообще этажом, а вроде полуподвала, и это объясняло бы как-то.

<sup>83</sup> С 1924-го — Евгении Бош, с 1954-го — Богдана Хмельницкого.

<sup>84</sup> Горелик П., Елисеев Н. «По теченью и против теченья...», с. 12–13.

Курсивом в книге выделены воспоминания Горелика.

<sup>85</sup> Оксман А. «Я, рождённый в сорочке, сорочку променял на хорошую строчку...»

<sup>86</sup> «Иерусалимский журнал», 2017, № 57.

Но вряд ли, потому что — «Хлипкий дощатый пол был на уровне земли» (кстати: «дощатый» — а у племянницы «земляные полы»).

По большому счёту, и не важно — один этаж или полтора; другое дело, что все, и сам Слуцкий, говорят, что жили впроголодь:

Я помню квартиры наши холодные  
И запах беды.  
И взрослых труды.  
Мы все были бедные.  
Не то чтоб голодные,  
А просто — мало было еды<sup>87</sup>,

— а племянница в интервью (и явно со слов, опять же, самого Слуцкого, т. к. доживал он последние годы у них в Туле, в семье брата): «Когда пишут о еврейских поэтах или писателях, то часто начинают так: “Он родился в бедной еврейской семье...” Семья Слуцких не была бедной, а скорее среднего достатка. Дед и бабушка (её, родители Слуцкого — А. К.) работали, на жизнь хватало». Однако в данном случае разночтениям можно найти конец: полуголодные, да, но «среднего достатка»<sup>88</sup> по сравнению с теми,

<sup>87</sup> Это из уже цитировавшегося (в связи с «тополем/явором») «Деревья и мы», но и в тех лежащих в архиве воспоминаниях Слуцкий пишет: «Было очень светло. Суммарное воспоминание. Может быть потому, что так темно было в квартире. Одна комната из двух совсем без окна. Выйдешь на улицу — сразу становится светло... Второе суммарное воспоминание — чувство недоедания. Не то чтоб голодал, а почти всё время хотелось есть. К родителям и эпохе никаких претензий. Сам виноват. Деньги копил на книги. Светло было. Голодно. Ещё было нервно... Отец сдерживался. Мать не сдерживалась. Но оба кипели. Денег было меньше, чем хотелось. Жили хуже, чем хотелось. Работали больше, чем хотелось» (*Горелик П., Елисеев Н.* «По течению и против течения...», с. 15–16). И ещё: «(...) радость от чтения какого-нибудь однотомника — тогда это был самый доступный вид книгоиздания — смешивалась с лёгким чувством недоедания. Короленко — полтора рубля — тридцать несъеденных школьных завтраков» (оттуда же, с. 21).

<sup>88</sup> Что жили средне, а не совсем бедно, говорит и то, что в семье была домработница: «Собственно, родителей дети видели мало — те всё время были заняты добыванием хлеба насущного. Вела дом и детей женщина, прибывшая к Слуцким ещё в Славянске. Как ни странно, трудно определить и как её называть, и как определить её положение в доме. От рождения она была Марией Тимофеевной Литвиновой. Долгие годы она была экономкой у одинокого начальника славянской почты, который переименовал её в Ольгу Николаевну и, оформив брак с ней незадолго до своей смерти, дал ей фамилию Фабер. То ли революция, то ли иные обстоятельства лишили её дома и прочего имущества, оставшегося ей после хозяина и мужа, и она осела в семье Слуцких. Взрослые называли её Ольгой Николаевной, дети — Аней



кому нечего было есть, кто умирал от голода. Мы к этому обязательно придём в разговоре.

А пока нужно хоть немного разобраться, как Слуцкие оказались в Харькове. Горелик и Елисеев пишут: «Первое, что даровала революция евреям России — отмену черты оседлости. Евреи обрели право передвижения и сорвались с проклятых насиженных мест. Чета Слуцких, люди не первой молодости — Абраму Наумовичу шёл тридцать третий год, Александре Абрамовне двадцать восьмой, — покинула постылое местечко и переехала в Славянск<sup>89</sup> — ближайший заштатный городок Изюмского уезда Харьковской губернии. Здесь 7 мая 1919 года родился их первенец, будущий поэт. Слуцкие знали, что они покинули. Позади была жизнь в глухом еврейском местечке, погромы, нищета. Жизнь без надежды и без будущего для детей»<sup>90</sup>.

Отменённая Временным правительством после Февральской, «черта оседлости» фактически уже и не существовала к тому времени (так её, требуя утешения, назвал некогда совсем маленький Борис, так оно и пошло). Формально она была домработницей, но с какого-то времени отказалась от какой-либо платы, став просто-напросто членом семьи. Родителей дети уважали, ценили, страшились, Аню бурно и тихо любили. Она их кормила, мыла, обстирывала, обшивала, собирала в школу, встречала из школы, ночевала с ними в одной из двух комнат квартиры. И, вовсе не помышляя об этом, давала им уроки активной доброты, деятельного участия в чужой судьбе, постоянного, незаметного жизненного подвига. Любимцем её был Борис — он тоже в ней души не чаял. И её внесловесные заветы тоже сохранились и обрели новую жизнь и в его человеческом поведении, и в его творчестве» (Болдырев Ю. «Выдаю себя за самого себя...», с. 8–9). Правда, у Болдырева тут же чуть раньше: ««...» почти что нищету, в которой жила семья «...» (с. 8), — и это затем повторяется и повторяется у пишущих о Слуцком, входит в канон: ««...» вырос в очень бедной семье, на большом базаре в Харькове, причём пол в их доме был вровень с базарной мостовой» (Корнилов В. «Покуда над стихами плачут...» — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 108).

<sup>89</sup> Болдырев же говорит, что им было по столько на момент рождения Слуцкого (а не на момент переезда в Славянск): «Он был первенцем у своих уже не первой молодости родителей: отцу было 33 года, матери — 28» (Болдырев Ю. «Выдаю себя за самого себя...», с. 5–6), — но по-видимому, ошибаются все, в тех архивных воспоминаниях, что приводят Горелик и Елисеев, Слуцкий пишет: ««...» когда мне было восемь — десять — двенадцать и матери тридцать с небольшим «...»» (Горелик П., Елисеев Н. «По течению и против течения...», с. 14), — и стало быть, запомнившийся биографам возраст относится, скорее всего, к переселению (возвращению на самом деле — сейчас и до этого дойдём) в Харьков: Слуцкому три, матери — двадцать восемь; Слуцкому восемь, матери — «тридцать с небольшим», всё сходится.

<sup>90</sup> Горелик П., Елисеев Н. «По течению и против течения...», с. 10.

мени: сначала её слегка подразмыла революция 1905-го и указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года (так называемый манифест о свободе совести), разрешивший всем «сектантам», в том числе иудеям вне «черты», легализовать общины и строить храмы, а затем, с началом Первой мировой и продвижением линии фронта по Российской империи вглубь, Министерство внутренних дел в августе 1915-го дало разрешение евреям — правда, не чтобы уберечь их, а считая неблагонадёжным элементом, готовым переметнуться — селиться и вне «черты», но разумеется, не в Петербурге и пригородах, и не в прифронтовой полосе. Но суть не в этом даже: если отец Слуцкого, может, и был в Славянске пришлым, то мать его точно была славянчанкой, и давно, возможно, даже изначально, потому что сам Слуцкий в очерке «Мой друг Миша Кульчицкий» пишет: ««...» Мишина мать Дарья Андреевна — одноклассница по Славянской гимназии моей нелюбимой тётки Жени. Моя же мать училась в той же гимназии двумя или тремя классами старше»<sup>91</sup>. И хотя Харьковская губерния, единственная из всех украинских, не входила в черту оседлости, отец Александры Абрамовны, матери Слуцкого, был, как упоминалось, учителем русского языка, евреям же с высшим образованием и их семьям (а также купцам первой гильдии, зарегистрированным проституткам, ремесленникам особой квалификации, родителям, чей ребёнок учится в гимназии, среднему медперсоналу и отслужившим в армии) разрешалось селиться вне «черты» и до всяких послаблений.

И точно так же не зависел от черты оседлости и её отмены, мог жить где угодно до всяких революций отец Слуцкого: в балладе «Отец» из «Доброты дня», и все биографы как один повторяют вслед, говорится: «Изгнанный из второго класса / церковноприходского училища / за то, что дерзил священнику «...» — не из хедера, не из талмуд-торы (Слуцкий мог просто сказать: из школы, — чтоб не уточнять), и следовательно, отец Слуцкого был крещённым, иначе б кто его в церковно-приходское допустил (и один же класс он окончил, изучал Закон Божий, церковное пение и т. п.). Наверное, с отцом Слуцкого всё гораздо сложнее, чем «выкрест» и точка, — с учётом его отца-хабадника и брата-сио-

<sup>91</sup> Слуцкий Б. О других и о себе, с. 227.

ниста (сейчас, в примечаниях, и о них расскажем), да и с учётом того, что самого Слуцкого его эмансипированные от иудаизма родители обучали в детстве ивриту, но факт остаётся фактом: церковно-приходское — и черта оседлости уже ни при чём, она для иудеев, не для евреев.

Следующий вопрос, на который никто из биографов не знает ответа, — Харьков: как, у кого Слуцкие оказались в Харькове, не на голое ж место они сюда приехали, должен был быть кто-то, на кого они могли опереться в первое время. Родители матери остались в своём Славянске, Болдырев (со слов же Слуцкого, ясно) пишет: ««...» курортный Славянск, куда часто ездили (потом из Харькова — А. К.) к родителям матери, родиной был формально»<sup>92</sup>. О родителях отца Слуцкого сведений немного, о матери совсем ничего, об отце и деде — «Основоположником рода является Хаим Слуцкий 1850 года рождения, стародубский помещик Черниговской губернии. У Хаима было пятеро детей. Первый сын Хаима Наум<sup>93</sup> имел пятерых сыновей, среди кото-

<sup>92</sup> Болдырев Ю. «Выдаю себя за самого себя...», с. 6.

<sup>93</sup> Деда Наума (о котором еврейский генеалогический портал «JewAge» пишет, что он «Родственник знаменитого российского сиониста Авраама Яакова Слуцкого из Новоград-Северского» и что он ««...» был активным участником движения Хабад-Любавич» [<http://www.jewage.org/wiki/ru/Profile:P1246544732>], — и это всё, что там о нём известно) Слуцкий помнит: «Надо было спросить отца, / как его отца было отчество. / Только после его конца / углубляться в это не хочется. // «...» Дед — он лично со мной говорил, / даже книжку мне подарил, / книжку, а до этого дудочку / и ещё однажды — удочку. / Хорошо бы пройти по следу: / кто же / всё же / предшествовал деду» («Плебейские генеалогии», начало 1970-х). Должно быть, дед Наум умер, когда Слуцкий был ещё совсем маленьким. И в ещё одной балладе — самопортрет на фоне деда:

Становлюсь похожим на деда  
и давно похож на отца.  
Серебристую ниткою вдега  
седина. Седины — без конца.

Это общедоступное средство —  
подождать, чтобы годы прошли,  
и проступят родство и наследство,  
корни вылезут из-под земли.

Сквозь глобальность и рациональность,  
сквозь одежду современный покррой  
вдруг проступит национальность,  
заиграет отцовская кровь.

рых были Шимон и Авраам. У Шимона, в 1920 году приехавшего в Палестину, в Тверию, и родился сын Меир (Амит) — будущая легенда разведки Израиля. У Авраама, оставшегося в СССР — сын Борис — стал видным поэтом двадцатого столетия»<sup>94</sup>. Больше — и очевидно ж, со слов Меира Амита — о дяде Слуцкого Шимоне: «Шимон-Ицхак Слуцкий родился в местечке Понорни-

Всё, что тушевалось, тупилось  
в быстротечной сумятице дней, —  
незатейливость, тихость, терпимость  
выступают ясней и ясней.

И о деду я слышал всё то, что,  
чем мне помнится мой отец,  
вдруг доходит, как старая почта,  
мне доставленная наконец.

(«Возвращение», впервые полностью [а без средней строфы — в «Сроках», 1984] в альманахе «Год за годом» [№ 5, 1989 г.] — приложении к идишеязычному журналу «Советиш геймланд», — в подборке из девятнадцати до этого не печатавшихся еврейских стихов Слуцкого.)

И тоже самопортрет, только фон с ним меняются местами, в балладе о другом деду — «Происхождение» (1970-е):

У меня ещё дед был учителем русского языка!  
В ожидании верных ответов  
поднимая указку, что была нелегка,  
он учил многих будущих дедов.

Борода его, благоухавшая чистотой,  
и повадки, исполненные достоинством и простотой,  
и уверенность в том, что Толстой  
Лев, конечно  
(он меньше ценил Алексея),  
больше бога!

Разумное, доброе, вечное сея,  
прожил долгую жизнь,  
в кресле после уроков заснул навсегда.

От труда до труда  
пролегал прямая дорога.

Родословие не пустые слова.  
Но вопросов о происхождении я не объеду.  
От Толстого происхожу, ото Льва,  
через деда.

<sup>94</sup> Слуцкая С., Слуцкий И. О встречах с Меиром Амита (Слуцким), легендой израильской разведки «Моссад». — «Русский базар», 2010, № 30 (745).

ца Черниговской губернии в 1890 году. Учился в йешиве в Минске, однако увлёкся светскими науками и отказался от намерения стать раввином. Вместо этого он сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в минской гимназии. В 1911 году был призван в русскую армию, где послужил три года. Был снайпером и за отличную стрельбу повышен в звании. Во время Первой мировой войны работал снабженцем в Харькове. Тогда же стал активистом сионистского движения. В 1917 году был избран делегатом Всероссийского сионистского конгресса в Петрограде. В 1919 году отправился в Крым с тем, чтобы оттуда добраться до Эрец Исраэль. В Крыму, находившемся под властью барона Врангеля, он принял активное участие в деятельности еврейских и сионистских организаций и стал заместителем председателя еврейской общины Феодосии. В 1920 году Слуцкий сумел покинуть Крым и добраться до Стамбула, а оттуда — до Эрец Исраэль»<sup>95</sup>, — он, собственно, и дальше продолжал общественную деятельность: был избран председателем совета городка, где жил, создал и возглавлял долго кассу взаимопомощи рабочих, а после образования государства Израиль стал одним из основателей Общества защиты прав потребителей, — но нам обратно, самое важное мы проскочили, Харьков и до революции связан со Слуцкими.

Крупнейший харьковский краевед, работающий в архивах Андрей Парамонов<sup>96</sup> говорит, что по его сведениям, «Слуцкие в Харькове с 1877 года, мещане г. Кременчуга Полтавской губернии. Дед комиссионер, проживали на Николаевской улице, дом № 27<sup>97</sup>» и что у отца Слуцкого до революции была аптека (это

<sup>95</sup> Флёрова А. — «JewAge» ([http://www.jewage.org/wiki/ru/Profile:P0435\\_776783](http://www.jewage.org/wiki/ru/Profile:P0435_776783)).

<sup>96</sup> «Автор 54 книг и более чем 600 статей по истории Слободской Украины и Харькова, а также сценариев документальных фильмов на историческую тематику. Основатель и руководитель частного музея городской усадьбы (с 2002 г. по настоящее время)» (с обложки его новой книги «Улицы старого Харькова» [X., «Фолио», 2019, 384 с.]).

<sup>97</sup> С 1922 г. улица Короленко. Нынешний 27-й дом, пятиэтажный, широкий, с огромной аркой, сквозь которую Короленко выходит на Харьковскую набережную, построен в 1956-м. До революции весь этот район, несколько улиц от Пушкинской вниз к набережной, был еврейским: две ещё с середины XIX века синагоги (соединяющая их Мещанская [после 1917 г. — Гражданская] в народе называлась Еврейской), женское еврейское училище, общество пособия бедным евреям и мн. др. (в том числе на весь квартал по набережной крупнейшая на юге Российской империи фабрика аптекарского оборудования и препаратов Лейбы Гофмана и Менделя Деуэ-

и объясняет «среднего достатка»), очевидно ж, после реквизируемая (что объясняет «Жили хуже, чем хотелось» и под.)<sup>98</sup>.

Итак, Слуцкие — харьковчане, отец Слуцкого вернулся в Харьков в 1922-м домой (не в дом, но), с женой, домработницей — членом семьи, и двумя детьми, а уехал, надо думать, когда в 1918-м захватившие город большевики отобрали аптеку.

В стихах Слуцкого можно найти свидетельство, что и остальные братья его отца, кроме уехавших Шимона и ещё одного (помните, «...» в Палестину. Братья деда перебрались туда ещё в 1919 или 1920 г.<sup>99</sup>) из интервью Ольги Фризен), жили в Харькове — раз кормили обедами:

ля, что и сегодня ООО «Харьковская фармацевтическая фабрика»), — и после тоже: в Малом театре на набережной в 1925-м открылся второй в СССР после московского еврейский театр. Остаётся добавить, что от дома Слуцких на Николаевской-Короленько до Московского проспекта, 11, где родители Слуцкого жили последние годы, рукой подать, пятьсот метров, не более.

<sup>98</sup> После публикации «Писателей в Харькове. Слуцкий» в «Новом мире», №№ 7–8, 2019, сын племянницы Слуцкого Ольги Фризен Пётр написал в фейсбук-группе «Борис СЛУЦКИЙ» (<https://www.facebook.com/groups/373700739462925/>): «(...Прадедущка был аптекарем до революции?..) По линии бабушки: Риты Ароновны Левинзон — ДА! Об этом знал всегда. Что прадедущка Арон Савельевич был очень близок с фармакологией. Но то, что и прадедущка Абрам Наумович был далеко не равнодушен к фармацевтике — это очень интересное и новое откровение», «мама сказала, что никогда не слышала о том, чтобы прадедущка Абрам (мамин дедушка, мой прадедущка) был связан с фармацевтикой и был / мог быть аптекарем. ...Хотя, возможно, что и скрывали, ведь владельцев частной собственности до 1917 года после 1917 года зачастую особенно и не жаловали... И всё же: был Абрам Наумович аптекарем или нет?» — и Андрей Парамонов там же дополнил: «Этот факт зафиксирован в фонде Харьковского полицмейстера».

<sup>99</sup> А вот почему отец Слуцкого не поехал с женой с ними, так это, по всему, из-за него же, только что, в мае, родившегося: пускаться с несколькомесячным ребёнком в такое путешествие через всю Украину во время войны.

В 1964-м мать Меира Амита приезжала в СССР, виделась и с отцом Слуцкого — Амит рассказал об этом в интервью в 1999-м (*Маркиш Д.* Пароль? — «Нет выхода». — «Известия», 1999, № 227). О своём отце он там ничего не говорит, только о матери: «Мы — Слуцкие. Под этой фамилией мои родители жили в Украине. Моя мать осталась Слуцкой, а я стал Амитом, когда подросток и шестнадцатилетним парнем ушёл в подпольную еврейскую армию», — что запутывает жутко некоторых биографов, думающих, что она поэтому сестра отца Слуцкого, и выходит, родители Амита — родные брат и сестра («Дело в том, что двоюродным братом образцового коммуниста и виднейшего советского поэта Бориса Слуцкого был знаменитый глава израильской разведки “Моссад” Меир Амит. Так получилось. Их отцы Абрам и Хайм были родными братьями») — и там же вскоре «...» его мать в 1964 году собралась навестить

Много сапожников было в родне,  
 дядями приходившихся мне —  
 близкими дядями, дальними дедами.  
 Очень гордились моими победами,  
 словно своими и даже вдвойне,  
 и угощали, бывало, обедами.

И в конце этой («Очень много сапожников»<sup>100</sup>) баллады:

Среднепоместные, мелкопоместные  
 были писатели наши известные.  
 Малоизвестным писателем — мной,  
 шумно справляя свои вечерухи,  
 новости обсуждая и слухи,  
 горд был прославленный цех обувной.

Лев Озеров, приводя данное стихотворение, тоже так это и понимает — что харьковские: «У него крепкая красная широ-

в СССР своего брата, отца поэта — Абрама Слуцкого», «Это к нему, Абраму Слуцкому, в Харьков (...), приезжала навестить (...) родная сестра — мать главного израильского разведчика Меира Амита» [Оклянский Ю. Праведник среди камнепада]. Возможно, впервые такая интерпретация слов Амита прозвучала в редакционном примечании к рецензии на «Записки о войне» Слуцкого — в «Народе Книги в мире книг» в 2001-м: «Родная тётя Слуцкого, Хая Слуцки, эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1920 году, была активистом рабочего движения, членом ЦК партии Мапай. Её сын, Меир Амит, двоюродный брат Слуцкого, — израильский военачальник, генерал-майор, крупный государственный деятель, в 1960-е годы возглавлял израильскую внешнюю разведку Моссад. — Ред.» (Шубинский В. Господин комиссар. — «Народ Книги в мире книг», 2001, № 31), — и после пошло-поехало.

И — чтоб доразобраться в вопросе: не к отцу Слуцкого специально приезжала мать Амита, а к своим, не Слуцким, родственникам, вероятнее всего: «Меир сказал: «Можно понять моих двоюродных братьев поэта Бориса Слуцкого и Фиму — преподавателя Военного института в Туле, когда в 1964 году они побоялись встретиться с моей матерью, приехавшей из Израиля в СССР, чтобы повидать родственников» (Слуцкая С., Слуцкий И. О встречах с Меиром Амитом (Слуцким), легендой израильской разведки «Моссад»). Племянница Слуцкого на этот счёт проясняет: «Когда уже после войны в Москву приехал из Израиля кто-то из родственников и захотел увидеться с Борисом Слуцким, тот от встречи отказался. Я думаю, даже не из боязни за себя, а скорее из-за брата: мой отец работал на секретном предприятии. Вся жизнь связанный с производством оружия, он в этой области был известен не менее, чем Борис в поэзии. Родственники за границей, а особенно в Израиле, — ясно, к чему это могло привести» (Окман А. «Я, рождённый в сорочке, сорочку променял на хорошую строчку...»).

<sup>100</sup> Из «Неоконченных споров».

кая шея. Как у римских императоров и харьковских сапожников. Он сам говорит об этом»<sup>101</sup>. И если всё верно, то вот они оба, харьковские дяди-сапожники:

Дядя, который похож на кота,  
с дядей, который похож на попа,  
главные занимают места:  
дядей толпа.

Дядя в отглаженных сюртуках.  
Кольца на сильных руках.  
Рядышком с каждым, прекрасна на вид,  
тётя сидит.

Тётя в шелку, что гремит на ходу,  
вдруг к потолку  
воздевает глаза  
и говорит, воздевая глаза:  
— Больше сюда я не приду!

Музыка века того: граммофон.  
Танец эпохи той давней: тустеп.  
Ставит хозяин пластиночку. Он  
вежливо приглашает гостей.

Я пририсую сейчас в уголке,  
как стародавние мастера,  
мальчика с мячиком в слабой руке.  
Это я сам, объявиться пора.

Видите мальчика рыжего там,  
где-то у рамки дубовой почти?  
Это я сам. Это я сам!  
Это я сам в начале пути.

Это я сам, как понять вы смогли.  
Яблоко, данное тётей, жую.  
Ветры, что всех персонажей смели,  
сдуть не решились пушинку мою.

---

<sup>101</sup> *Озеров Л.* Резкая линия. — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 328.



Все они канули, кто там сидел,  
все пировавшие, прямо на дно.  
Дяди ушли за последний предел  
с томными тётями заодно.

Яблоко выдала в долг мне судьба,  
чтоб описал, не забыв ни черта,  
дядю, похожего на попа,  
с дядей, похожего на кота.<sup>102</sup>

А на вопрос, куда канули, как, отвечает, должно быть, баллада  
«Отягощённый родственными чувствами...»<sup>103</sup>:

Отягощённый родственными чувствами,  
Я к тётке шёл,  
        чтоб дядю повидать,  
Двоюродных сестёр к груди прижать,  
Что музыкой и прочими искусствами,  
Случалось,  
        были так увлечены!

Я не нашёл ни тёти и ни дяди,  
Не повидал двоюродных сестёр,  
Но помню,  
        твёрдо помню  
                                до сих пор,  
Как их соседи,  
        в землю глядя,  
Мне тихо говорили: «Сожжены...»

Всё сожжено: пороки с добродетелями  
И дети с престарелыми родителями.  
А я стою пред тихими свидетелями  
И тихо повторяю:  
        «Сожжены...»

Это, судя по всему, когда Слуцкий смог попасть наконец в Харьков в 1943-м: *«В февральском письме 1943 года Борису удаётся, обходя военно-цензурные рогатки, сообщить мне, что он воюет*

<sup>102</sup> «И дяди и тёти» («Неоконченные споры»).

<sup>103</sup> Из книги «Работа».

в районе Харькова. “У меня появился шанс посетить в ближайшее время Конную площадь, дом 9<sup>104</sup>... Принимаю поручения и в иные окрестности. Поручения, сам понимаешь, надо выслать немедленно... Пишу перед боем. Всё. Целую. Борис” (из письма Петру Горелику — А. К.). В короткие дни первого освобождения Харькова Борису не удалось попасть в город, который он считал родным. Только спустя три недели после взятия Харькова (11 сентября) Борис оказался на Конной площади. Из его писем друзьям и брату можно составить картину того, что он успел: выполнил несколько личных поручений школьных товарищей-фронтовиков, узнал, целы ли дома и имущество их эвакуированных родителей, встретился со школьными друзьями, в основном с девочками, остававшимися в городе. Но главное, ради чего он стремился попасть в Харьков — разыскать Аню<sup>105</sup>. Он нашёл её далеко от Конной площади у знакомых, пошёл с ней в военкомат, заставил сопротивлявшихся военных чиновников записать её как члена семьи воюющего офицера, оформил на её имя денежный аттестат и добился вселения в квартиру, принадлежавшую Слуцким<sup>106</sup>. И всё — менее чем за одни сутки<sup>107</sup>. Правда, сам Слуцкий говорит о двух — в письме брату от 13 октября 1943-го: «Вчера и позавчера был в <Харькове> (зачёркнуто цензурой. — *Пётр Горелик*) <...>» — и далее об

<sup>104</sup> Из письма от 17 февраля 1943-го брату: «Итак, Харьков — наш. Мои планы участвовать в освобождении Конного базара не увенчались успехом» («Десять фронтовых писем Бориса Слуцкого». Публикация, вступительная заметка и примечания Петра Горелика. — «Звезда», 2004, № 5). Конный базар, Конная площадь и далее в письмах к брату: «От людей, побывавших в (зачеркнуто цензурой. — *Пётр Горелик*) до и после освобождения, я узнал, что в Харькове подрывались преимущественно общественные здания, а не жилые дома. Конная площадь относится к числу пострадавших районов. Базар и казармы уничтожены. Опера и дом № 20 по Молочной уцелели. Группа домов вокруг ветлечебницы, кажется, уцелела» (от 13 марта 1943-го), «Неоднократно бывал в 2 часах ходьбы от Конной площади. С других сторон туда ходьбы минут 40. От трёх крестьянок, которые покупали ещё в августе там на столах соль и эрзацмыло, узнал, что “той бік де ветлікарня — схоронився”. Итак, надеюсь и т. д.» (от 28 августа 1943-го).

<sup>105</sup> Родители и сестра в эвакуации, в Ташкенте, брат — в артиллерийской академии в Самарканде. Няня, пишут биографы, эвакуироваться наотрез отказалась.

<sup>106</sup> Фаликов пишет, что не в квартиру Слуцких, а «чью-то»: «...» няню Аню сумел поселить по новому адресу (в чью-то разорённую квартиру)» (Фаликов И. Борис Слуцкий: Майор и муза. Главы из книги. — «Дружба народов», 2018, № 5).

<sup>107</sup> Горелик П., Елисеев Н. «По течению и против течения...», с. 16–17.

Ане и двоюродной сестре Ирине Лейкиной<sup>108</sup>, возможно, той, что в «Отягощённый родственными чувствами...»: ««...» Аня жива и здорова. Ира Лейкина, которая жила у неё — расстреляна немцами. Светлая комната — цела. Там живёт Катя Поняк<sup>109</sup>. Пианино, стол, буфет — в Германии. Почти вся остальная мебель сохранилась. Аня живёт в квартире Лейкиных, которая сохранилась. Двор её обкрадывал, но относился хорошо»<sup>110</sup>. О дядях не упомянуто, может, о них в другом, неизвестном нам письме, ведь и о двоюродной сестре в этом — лишь в связи с Аней.

А вот «Как убивали мою бабуку» (из той же «Работы»), что зачитывают к харьковским («В только что освобожденном Харькове он узнал, как убивали его бабуку <...>»<sup>111</sup>), к Харькову всё же не имеет отношения. Слуцкий же фактовик, в балладе говорится, что ««...» утром к зданию горбанка / подошёл танк. / Сто пятьдесят евреев города, / лёгкие / от годовалого голода <...> / за город повели, / далеко» — в Харькове, оккупированном 24 октября 1941-го, еврейский вопрос был «решён окончательно» практически сразу же, не через год, в декабре 1941-го — январе 1942-го в Дробицком яру, куда приводили на расстрел по двести пятьдесят — триста человек из гетто, оборудованного в бараках ХТЗ, на окраине города, не в центре. Слуцкий о Дробицком яре знает: «Под Харьковом мне рассказали о том, как за Тракторным посекали из пулемётов 28 тысяч человек. Недостреленных долго ещё ловили по яругам, водили к старостам, допрашивали, убивали»<sup>112</sup>, «В Харькове 16 000 евреев уничтожены в бараках станкозавода»<sup>113</sup>, — и вряд

<sup>108</sup> Кроме неё, из двоюродных в этих харьковских письмах упоминается Арон Лейкин. И ещё одна Лейкина из двоюродных — Юлия Яковлевна: «Сегодня, после алии семидесятых-девяностых, точно подсчитано: на Земле Обетованной однокровников поэта Бориса Слуцкого — 120 человек. Двоюродных братьев и сестёр, и племянников внучатых. Всю почтенную родню Слуцких — и сабр, и олим — ухитряется не растерять двоюродная сестра поэта, ныне живущая в Хайфе, энергичная и очаровательная Юлия Яковлевна Лейкина, моя харьковская сослуживица. В 1961 году именно она познакомила меня с Борисом» (*Баткин В.* Израненный поэт и политрук, или Неоконченные споры. — «Семь искусств», 2011, № 5 [18]).

<sup>109</sup> Горелик делает примечание: «Соседка Слуцких».

<sup>110</sup> «Десять фронтовых писем Бориса Слуцкого».

<sup>111</sup> *Горелик П., Елисеев Н.* «По теченью и против теченья...», с. 249.

<sup>112</sup> *Слуцкий Б.* О других и о себе, с. 123.

<sup>113</sup> Из письма брату от 16 марта 1943-го («Десять фронтовых писем Бориса Слуцкого»).

ли ему понадобилось ради чего-то так передёргивать факты, тем более что и не называя Харьков, в аналогичном случае он вполне определённо указывает на него:

Город занял враг  
войны в начале.  
Продолжалось это года два.  
Понимаете, что же означали  
красота  
и метр восемьдесят два?

Многие красавицы, помельче  
ростом,  
длили тихое житьё.  
Метр восемьдесят два,  
её пометя,  
с головою выдавал её.

С головою выдавал  
вражьему, мужчинскому наскоку,  
спрятаться ей не давал  
за чужими спинами нисколько.

Город был — прифронтовой,  
полный солдатни,  
до женщин жадной.

<...>

Есть понятие — величье духа,  
и ещё понятие — голодуха.

Есть понятие — совесть, честь,  
и старуха мать — понятие есть.

...В сорок третьем, в августе, когда  
город был освобождён, я сразу  
забежал к ней. Помню фразу:  
горе — не беда!<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> «Метр восемьдесят два» («Сроки», но там не целиком). Помните, «<...> встретился со школьными друзьями, в основном с девочками, остававшимися в городе». И ещё: эта баллада — об освобождении Харькова, других у Слуцкого нет, тем более таких: «Над Харьковом взвилось родное наше знамя / И засверкала вновь советская

В «Как бивали мою бабу» есть её имя: Полина Матвеевна — и говорится «Поэтому бабушку решили убить, пока ещё проходили городом. // Пуля взметнула волоса. / Выпала седенькая коса, / и бабушка наземь упала. / Так она и пропала». Фаликов думает, что это та же, которая в более ранней балладе названа Цилей и сожжена в крематории концлагеря: «На самом деле бабушку звали по-другому, и в другом стихотворении — “В Германии” — сказано: <...> *Пред тем как в печь её стащили, / Моя слепая бабушка Циля, / Детей четырнадцати мать.* Поэт обобщает, исходя из реальности, но не привязан к ней буквально. Этот зазор надо всегда помнить, когда ты ищешь подробности его бытия — в стихах»<sup>115</sup>, — вот в том-то всё и дело, что Слуцкому можно верить, «зazor» у него в ином, не в подмене фактов, это ему как раз не нужно, наоборот.

Бабушка Циля, вероятнее всего, жена деда Наума: и многодетна (сыновей только пятеро) и русифицированное имя Полина Матвеевна<sup>116</sup> больше идёт жене деда Абрама, учителя русского языка.

Всё, что биографы знают об отце Слуцкого (даже племянника), почерпнуто из его стихов и краткого — тоже ж с его слов — «<...> до революции и после неё работал в торговле, был основным

звезда, / Он снова наш, он снова с нами, / Освобождённый — навсегда!» (Демьян Бедный, «Над Харьковом взвилось родное наше знамя!» [1943]) — надо как следует не любить Харьков, чтобы не написать такое, не позволить себе.

У Слуцкого есть «Я освободил Украину» — но тоже не такое, не так, не о том, что можно было бы ожидать (у другого):

Я освободил Украину, шёл через еврейские деревни. Идиш, их язык, — давно руина. Вымер он и года три как древний.	Нет, не вымер — вырезан и выжжен. Слишком были, видно, языкаты. Все погибли, и никто не выжил. Только их восходы и закаты
---	--

в их стихах, то сладких, то горячих,  
то горячих, горечью горящих,  
в прошлом слишком, может быть, колючих,  
в настоящем — настоящих.

(«Год за годом», № 5, 1989 г.)

<sup>115</sup> Фаликов И. За Изюмским бугром. Из книги «Майор и муза» (<http://textura.club/za-izjumskim-bugrom/>). По идее, это равенство работает и в обратную сторону: Полина Матвеевна — Циля. Поэтому тоже — не работает.

<sup>116</sup> А вот о ком из них в «Еврейской бабушке»: «Как еврейская бабушка, эта строка / хороша. Но сейчас ни к чему. / Слишком схожа, похожа, подобна, близка — / слишком, слишком — ко мне самому. // Как еврейская бабушка, что во главе / праздничного / заседает / стола, / не идёт эта строчка к угрюмой Москве. / Не идёт совершенно. А — шла!» («Год за годом», № 5), — сказать сложнее.

кормильцем» у Болдырева<sup>117</sup>, дальше — интерпретации в свою сторону<sup>118</sup>. Из стихов Слуцкого же об отце, как правило, принимаются в качестве документа два. Первое — то самое «Отец», но только те строки «Изгнанный из второго класса / церковноприходского училища / за то, что дерзил священнику <...>», стоящее до них «Я помню отца, дающего нам образование» и после «<...> он требовал, чтобы мы кончали / все университеты»<sup>119</sup> отбрасывается, и выходит: «В необходимости образования Александре Абрамовне приходилось убеждать мужа. Абрам Наумович был человеком другого склада. Хотя он не меньше жены любил детей, его духовное влияние на них было несравненно меньше. Кормилец большой семьи, он был, как сказали бы сейчас, прагматиком. Он не мешал жене воспитывать детей, но довольно скептически относился к гуманитарной направленности их воспитания. Всего того, что нужно человеку в жизни — хорошей профессии, честности, порядочности, трудолюбия, заработка, достаточного для содержания семьи, — можно добиться и без лишней учёбы. Он считал, что образование должно дать положение и матери-

<sup>117</sup> Болдырев Ю. «Выдаю себя за самого себя...», с. 6.

<sup>118</sup> Например, «Можно предположить — у отца семейства не складывались в этом курортном захолустье, истерзанном бандами, его торговые дела. Появление ребёнка требовало более цивилизованного места обитания» (Фаликов И. За Изюмским бугром. Из книги «Майор и муза»). «Банд» в привычном смысле (ну, до 2014-го) Славянск не знал, его захватывали армии: немецкая, Красная, Белая, Красная, и советско-украинская война для Славянска закончилась, как и для Харькова, в декабре 1919-го победой большевиков, после чего — вероятно, это и имеется в виду под «истерзанном бандами» — они экспроприировали заводы, санатории, частные дачи и т. д.

Горелик и Елисеев уточняют, что до революции — приказчиком, и далее интерпретируют, исходя, как и ранее, из черты оседлости: «Отец был кормильцем семьи. Он владел одной из немногих профессий, разрешённых евреям черты оседлости, — работал приказчиком до революции и служащим в торговле в послереволюционные годы» (Горелик П., Елисеев Н. «По течению и против течения...», с. 11), — однако ж внутри «черты» такого ограничения для евреев на профессии, как за её пределами, в Российской империи, не было. Впрочем, это неважно, раз отец Слуцкого был крещённым, жил в Харькове и «чертой» никак не скован.

<sup>119</sup> И — вот уж где параллели: «Его (Меира Амига — А. К.) мать Хая преподавала в гимназии иврит. Отец — Шимон Слуцкий, человек уравновешенный, даже флегматичный, далёкий от политики, служил бухгалтером в крупной фирме. Когда Меир был ещё совсем маленьким, семья переехала в Тель-Авив. Отец очень гордился, что ему удалось устроить сына в самую престижную по тем временам гимназию «Бальфур»» (Фроммер В. Солдат в Мосаде. — «Иерусалимский журнал», 2000, № 3).

альное благополучие — то, чего он, изгнанный из второго класса церковно-приходского училища, был лишён в жизни. Он-то сам чего-то добился, “пройдя все институты... мимо”<sup>120</sup>, — отчётливо противоречивое («можно добиться и без лишней учёбы» и «образование должно дать положение и материальное благополучие»), поскольку биографам «он требовал, чтобы мы кончали / все университеты», естественно, известно. Однако, не имея сведений от отца Слуцкого, все следуют за Болдыревым, первым приведшим семейную шутку Слуцких насчёт «мимо» и тем самым определившим параметры жанра, «рассказа об отце»: «Все трое детей Слуцких (уже в Харькове к братьям добавилась сестра — Мария) получили высшее образование. Настойчивость матери в этом отношении была необходима ещё и потому, что ей приходилось убеждать отца. Он не то чтобы очень сопротивлялся образованию детей, но в нужности его убеждён не был. Хорошая профессия, честный, упорный труд и порядочный заработок, достаточный для содержания семьи, нужны человеку, считал он, а добиться этого можно и без лишней учёбы. Он-то добился, а ведь как он любил говорить: “Я все институты прошёл... мимо”. И мать преодолела и преодолела это пассивное сопротивление»<sup>121</sup>. Иногда, впрочем, даже в канонах жанра это противоречие как-то удаётся обыграть: «Дед, Абрам Наумович, образование имел небольшое. Он говорил: “Я всех университетов прошёл мимо”, — но делал всё, чтобы материально подкрепить амбиции жены и дать детям образование»<sup>122</sup>.

Вряд ли Слуцкий рассказывал Болдыреву одно, а в стихах вдруг взялся отца идеализировать, в этой балладе, написанной на смерть отца, характерно слуцкое ироничное «Я помню отца выключаящим свет. / Мы все включали, где нужно, / а он ходил за нами и выключал, где можно, / и бормотал неслышно какие-то соображения / о нашей любви к порядку», скорее, рассказал о каком-то случае, споре или ссоре, касающихся денег и образования (ведь ««...» было нервно<sup>123</sup>... Отец сдерживался. Мать не сдер-

<sup>120</sup> Горелик П., Елисеев Н. «По теченью и против теченья...», с. 15.

<sup>121</sup> Болдырев Ю. «Выдаю себя за самого себя...», с. 8.

<sup>122</sup> Фризен О. Дядя Боря.

<sup>123</sup> У Слуцкого и так полуважных слов нет, но это, пожалуй, одно из тех, что характеризуют для него ту эпоху харьковского детства — смотрите: «Родители были

живалась. Но оба кипели. Денег было меньше, чем хотелось»), и случай был интерпретирован затем как закономерность.

Ещё интересней интерпретируются последние строки той же строфы, которые тоже частенько приводятся в качестве биосведений отца: «Не было мешка, / который бы он не поднял, / чтобы облегчить нашу ношу», — особенно в сочетании с вышесказанным: «<...> в этом сказалось влияние семьи, в которой литературный труд, скорее всего, не слишком уважали. Отец Бориса работал на рынке весовщиком, ворочал шестипудовые мешки, сочинение стихов, по-видимому, считал баловством <...>»<sup>124</sup>.

Весовщиком, грузчиком, просто продавцом с разгрузками машины, непродавцом, подрабатывающим так на выходные тут же в доме, во дворе («Многие соседи превратили свои квартиры в подобие складов, где за плату хранились товары <...>»), напрямую из баллады не понять, наконец, это может быть и метафорой, здесь нет той чёткой конкретики, апеллирующей к факту, и выбирать один вариант из этих пяти, или больше, не стоит — точно так же, как из «<...> и поэтому он лицевал пальто / сперва справа налево, а потом слева направо его лицевал»<sup>125</sup> («Сон об нервные, / кричащие, возбуждённые. / Соседи тоже нервные, / угрюмые, как побеждённые. / И педагоги тоже / оралы, сколько могли. / Но, как ни удивляйтесь, / мне они помогли. // Отталкиваясь от примеров / в том распорядке исконном, / я перестал быть нервным, / напротив, стал спокойным. / Духом противодействия / Избылась эта беда: / я выкричался в детстве / и не кричу никогда» («Без нервов» из «Продлённого полдня»; в трёхтомнике нет).

Впрочем, соседи, как и родители ж наверное, бывали не только побеждёнными жизнью и угрюмыми, эпоха эпохой, но были и праздники, в том числе, кстати, и «конфессиональные»: «Жилец схватился за жилет / и пляшет. / Он человек преклонных лет, / а как руками машет, / а как ногами бьёт паркет / схватившийся за свой жилет / рукою, / и льётся по соседу пот / рекою. // Всё пляшет у меховщика: / и толстая его щека, / и цепь золотая, / и белизна его манжет, / и конфессиональный жест — / почти летая. / И достигают высоты / бровей угрюмые кусты / и под усами зыбко / бредущая улыбка. // А я — мне нет и десяти, / стою и не могу уйти: / наверно, понял, / что полувек не пройдёт / и это вновь ко мне придёт. / И вот — я вспомнил» («Внезапное воспоминание» из «Срочков»).

<sup>124</sup> Корнилов В. «Покуда над стихами плачут...», с. 107–108. И затем повторяющиеся у других: «Отец трудился весовщиком, ворочал на рынке шестипудовыми мешками» (Фаликов И. За Изюмским бугром. Из книги «Майор и муза»).

<sup>125</sup> Смысл же здесь в «<...> чтобы облегчить нашу ношу», а не в самом поднятии и лицовке, — как и в «<...> выдержит сравнение едва ли / кто-нибудь, / кроме отцов, — / тех, кто поднимал нас, отрывая / всё, что можно, / от самих себя, тех, кто



отце», тоже 1970-х, из «Сроков»; сейчас процитирую больше) делать вывод, что отец Слуцкого был портным.

«Сон об отце» почему-то упоминается совсем редко, хотя он не менее портретней «Отца», а для нас, в контексте, о чём говорилось, важен и тем, что снова повторяет, убеждает: ««...» обучивший как следует нас троих <...>» — и точка:

Загадаю сегодня увидеть отца,  
чтобы он с газетою в кресле сидел.

Он, устроивший с большим трудом  
дом,  
тянувший семью, поднявший детей,  
обучивший как следует нас троих,  
думал, видимо:  
мир — это тоже дом,  
от газеты требовал добрых вестей,  
горько сетовал, что не хватает их.

«Непорядок», — думал отец. Иногда  
даже произносил: — Непорядок! — он.  
До сих пор в ушах это слово отца.  
Мировая — ему казалось — беда  
оттого, что каждый хороший закон  
соблюдается,  
но не совсем до конца.

Он не верил в хаос,  
он думал, что  
бережливость, трезвость, спокойный тон  
мировое зло убьют наповал,  
и поэтому он лицевал пальто  
сперва справа налево,  
а потом слева направо его лицевал.

---

понимал нас, / понимая / вместе с нами / и самих себя» — «Отцы и сыновья» из «Неоконченных споров», начинающееся «Сыновья стояли на земле, / но земля стояла на отцах <...>»). И в той же книге стихов, как продолжение: «Мне приснились родители в новых пальто, / в тех, что я им купить не успел, / и был руган за то, / и осмеян за то, и прощён, / и всё это терпел. // Был доволен, серьёзен и важен отец — / всё пылинки с себя обдувал, / потому что построил себе наконец, / что при жизни бюджет не давал» («Новое пальто для родителей»).

Он с работы пришёл.  
 Вот он в кресле сидит.  
 Вот он новость нашёл.  
 Вот он хмуρο глядит.

Но потом разглаживается  
 лоб отцов  
 и улыбка смягчает  
 твёрдый рот,  
 потому что он знает,  
 в конце концов,  
 всё идёт к хорошему,  
 то есть вперёд.<sup>126</sup>

Что же касается выскочившего выше «сочинение стихов, по-видимому, считал баловством», то это всё та же интерпретация «в нужности его убеждён не был», ещё более далёкая, — сведений нет, но есть «Это правда»:

Многого отец не понимал,  
 Например, значенья рифмы<sup>127</sup>.  
 Этот странный молоточек  
 Беспокоил, волновал его.

А ещё он думал: хорошо  
 Пишет сын, но слишком много платят.  
 Слишком много денег он берёт.  
 Вдруг одумаются, отберут назад.

<sup>126</sup> Есть добавка сюда, то ли из черновиков, то ли вариаций, короткое, недавно («Аврора», 2018, № 1) опубликованное: «— Насилия нет! — говорил отец / и грозно поплёскивал очами. / По ходу планет, по бою сердец / он знал, что насилие было в начале, / а вовсе не слово».

<sup>127</sup> Вы заметите, что в этом стихотворении рифмы нет — хотя в принципе, Слуцкий её использует. Ну как — использует: дендистски, небрежно, не как украшение, «жил / служил» в лучшем случае («Тридцатые годы»). И в этом тоже ухмылочка (Слуцкого. А отца на него, чтоб ни говорили, — влияние).

«Дендистски», кстати, не случайно-выскочившее: «А я эстетов не застал. / Я только в книжечках читал, / в эстетских вышитых изданиях / об этих вычурных созданиях. // Когда я молод был и глуп, / ходил в литературный клуб, / и там — не в первый раз едва ли — / меня эстетом обозвали. // — Эстет? Какой же я эстет? / А где мой плащ? А где мой плед? / И мне сказал Кульчицкий Миша: / — Молчи! Веди себя потише! // Он часто мне напоминал, / как милиционер пинал / не соблюдавшего пропорцию / эстета бывшего — пройцом <...>» («Аврора», 2018, № 1).

— Это правда? — спрашивал отец,  
 Если сомневался в этой правде,  
 Но немедля вспоминал, что я  
 С детства врать не обучался.

Сколь невероятна ни была  
 Правда моего стихотворенья,  
 Сердце барахлящее скрепя,  
 Уверял отец, что это правда.

Инженером я не стал. Врачом —  
 Тоже. Ремеслу не обучился.  
 Офицером перестал я быть —  
 Много лет, как демобилизовался.

Первым и в соседстве и в родстве  
 И в Краснозаводском районе  
 Жил я только на стихи.  
 Как же быть могли они неправдой?<sup>128</sup>

<sup>128</sup> И в подтверждение ещё одно о том же самом — «Складно!» («Сроки»):

Отец мой никогда не разумел,  
 за что за строчку мне  
 такие деньги платят,  
 и думал: как он всё это уладит?  
 И как он так сумел?

Но, прочитавши раза три-четыре  
 стихотворение,  
 он выходил из мглы  
 и в смысле, словно в собственной квартире,  
 шагал,  
 прекрасно зная все углы.

Как и газетной критике,  
 ему,  
 по сути дела, форма ни к чему,  
 фиоритуры, что я выпевал.  
 Но содержанью не давал он спуску:  
 внакладку,  
 и вприглядку,  
 и вприкуску  
 он смысл стиха  
 не выпивал — впивал.

Да и странным было бы, не клеится, если дяди-сапожники гордятся литературными успехами «малоизвестного писателя», а отец нет — откуда бы тогда они узнавали о них, ««...» шумно справляя свои вечерухи, / новости обсуждая и слухи «...»», как не от него.

Образ отца у Слуцкого теплее и сложнее, чем у его биографов, напоминающий бога-отца-работягу у биографов Кафки или, проще, отцов писателей-демократов из XIX века, но схема должна работать, а работает она лучше в лайте, без противоречий: «Но отец вколачивал в детей (а в случае проступков — и в буквальном смысле) железные и прямые, как гвозди, этические заповеди. Вот одна из них, запомненная младшим братом: “Никогда не надо делать то, что нельзя делать”. Нетрудно догадаться, что и остальные были такими же простыми и ясными: о необходимости труда, исполнения обязанностей, честности перед людьми и перед собой, уважении к законам и к старшим и т. п. Заповеди были суровы и справедливы — Борис Слуцкий пронёс их через всю жизнь»<sup>129</sup>. Это — в связи с заповедями, второй балладой, которую все цитируют, говоря об отце Слуцкого, но только две первых строки: «Отец заповедал правила, / но мать завещала гены «...»» — потому что дальше всё загадочно, парадоксально, вернее, и не поддаётся однозначному опредмечиванию: ««...» и правила переправила, / поправила всенепременно. / Мне это давно знакомо, / хотя, конечно, не льстит: / отцовские законы / попрал материнский инстинкт»<sup>130</sup>. «Не льстит» здесь ключевое в понимании, о чём говорится, а что такое «инстинкт», проясняется в последней строфе «И жаловаться не стоит / на всю эту дребедень: / что день грядущий готовит, / не знает грядущий день»: что-то ситуативное, в отличие от «правил-законов»<sup>131</sup>, вечного, — «дребедень».

И только раз, а может, раза два,  
побившись над моей строкой балладной,  
осиливши её едва,  
мне с одобреньем говорил:  
— Ну, складно!

<sup>129</sup> Болдырев Ю. «Выдаю себя за самого себя...», с. 8.

<sup>130</sup> Впервые опубликовано Болдыревым в газете «Советская Татария» в 1989-м (<http://exitum.org/forum/topic/17107/>), но в последующий трёхтомник он его не включил.

<sup>131</sup> Правила-законы-уроки (««...» а я продумываю до конца уроки моего отца»), но что за правила, Слуцкий ни разу не говорит, скорее всего, это не готовые формулировки, как вышеприведённая Болдыревым по словам брата Слуцкого, а всё-таки «уроки», примеры того, как нужно относиться к жизни, держать удар и т. п. В той же только что процитированной балладе на смерть отца, где снова и газеты («Ему так

Вообще, лучше всего это загадочное стихотворение раскрывается через менее загадочное, потому что даёт картинку, историю, — «Музшколу имени Бетховена в Харькове» (из «Работы»), где тоже есть чёткое противопоставление (этим завершается): ««...» сопротивляясь музыке учебной / и повинуюсь музыке души». А картинка такая:

Я был бездарен, весел и умён,  
и потому я знал, что я — бездарен.  
О, сколько бранных прозвищ и имён  
я выслушал: ты глуп, неблагодарен,  
тебе на ухо наступил медведь.  
Поёшь? Тебе в чащобе бы реветь.  
Ты никогда не будешь понимать  
не то что чижик-пыжик — даже гаммы!  
Я отчислялся — до прихода мамы,  
но приходила и вмешивалась мать.  
Она меня за шиворот хватала  
и в школу шла, размахивая мной.<sup>132</sup>  
И объясняла нашему кварталу:  
— Да, он ленивый, да, он озорной,  
но он способный: поглядите руки,  
какие пальцы: дециму берёт.  
Ты будешь пианистом. Марш вперёд!  
И я маршировал вперёд. На муки.  
Я не давался музыке. Я знал,  
что музыка моя — совсем другая.<sup>133</sup>

хотелось дочитать / газеты за этот век «...»», и хлеб насущный и пальто («Он хлебу был благодарен за то, / что дешёв он так давно, / и демисезонному пальто «...»»), — «Всё то, что близко и далеко, / газеты ему приводили на суд, / и стариковство он нёс легко, / как только лёгкую юность несут. // Так чем же был счастлив, чему же рад / среди ежедневных своих зыбей, / болезней старческих конгломерат, / скудельный сосуд обидных скорбей! // Он говорил: “У меня сыновья, / и дочь, и двое внучат. / Они закончат, что начал я, / что не успел начать”» («Отец» из «Продлённого полдня»; но в трёхтомник Болдыревым не взято).

<sup>132</sup> А нести было недалеко: два квартала. 1-я Государственная музпрофшкола, что в 1937-м станет имени Бетховена, находилась тогда на Сумской (Карла Либкнехта в то время), 34, но прямо рядом с Конной площадью — её Плехановский филиал с вечерней музыкальной школой (Аптекарский переулок, 3; сегодня там многоэтажка).

<sup>133</sup> Нет, правда, — музыка, гул (и тоже муки): «В школе этому не учат, / В книгах об этом не пишут, / Этим только мучат, / Этим только дышат: / Стихами. // Гул, возникий в двенадцать и даже одиннадцать лет, / Не стихает, не смолкает, не умол-

Это не значит, что она непременно считала «сочинение стихов баловством», речь, видимо, о приоритетах: «Мать была постоянно кает» («Начинается длинная, как мировая война...», впервые — в журнале «Знамя» в 1965-м) — и в последней строфе: «Ты — труба. И судьба исполняет своё на тебе». Что музыка — поэзия, не метафора, а как бы кредо Слуцкого (когда он, молодой, ещё высказывал кредо), Пётр Горелик вспоминает: ««...» нечто вроде анкеты, где мы, несколько друзей-харьковчан, попытались ответить на вопрос, что такое поэзия. Вся затея в целом, хотя и отдаёт юношеским максимализмом, позволяет представить уровень и направленность наших разговоров, да и характер участников затеи. Борис писал вторым. Он привёл строчку из “Высокой болезни” Пастернака: “Мы были музыкой во льду...” и добавил: “единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст. [т. е. «за контрреволюционную деятельность» — А. К.]). К сведению ниже пишуших»» (*Горелик П. Друг юности и всей жизни.* — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 35).

А музыка недругая, которая ему не далась (и он ей, со своей стороны), у Слуцкого — реально бог, высшие сферы, как в «Музыке над базаром», укрощающая хаос и «погань» рынка: ««...» превыше каланчи пожарной, / Среди позорной погани базарной, / Воздвигся столб / и музыка на нём. // Те речи, что гремели со столба, / И песню — / ту, что со столба звучала, / Торги замедлив, / слушала толпа / Внимательно, / как будто изучала. // И сердце билось весело и сладко. / Что музыке буржуи — нипочём! / И даже физкультурная зарядка / Лоточников / хлестала, как бичом» — то ли *deus ex machina*, то ли Иисус, бичующий торговцев и менял. И даже круче (а есть ещё «Музыка на вокзале» из «Памяти», «Музыка с прибрежных кораблей» [где она «Обязательна, всеобща и бесплатна / и народна <...>», ««...» так легко, естественно, природно / море с небом склеивает <...>», «И на солнце оставляет пятна <...>», и в целом — «Всюду она главная стихия <...>»] из «Доброты дня», и т. д., везде, где по мелочам, а где как в знаменитых «Немецких потерях» [из «Сегодня и вчера»]: «Мне — что? / Детей у немцев я крестил? / От их потерь ни холодно ни жарко! / Мне всех — не жалко! / Одного мне жалко: / Того, / что на гармошке / вальс крутил») — в «Музыке будущего» (первая половина 1970-х), утопии-антиутопии, «В будущем обществе / противоречия / останутся только / в сфере музыки. // Люди стран барабана / ночами <...>» и т. п., «Может быть, войны в будущем обществе / будут вестись не полками / с полковыми оркестрами, / а оркестрами <...>», «Казнь / будет производиться инструментами / не менее музыкальными / чем музыкальные инструменты. / И все будут знать, / что такое смерть. / Это — глухота».

Сколько же Слуцкий проучился недругой музыке в Бетховенке? Болдырев говорит: ««...» бросил её после 5-го класса <...>» («Выдаю себя за самого себя...», с. 8), — и все повторяют; но не Слуцкий, который в «Переобучении одиночеству» говорит: ««...» проучившись лет восемь игре на рояле / и дойдя до “Турецкого марша” Моцарта / в харьковской школе Бетховена, / я забыл весь этот промфинплан, / эту музыку, / Бетховена с Моцартом / и сейчас не исполню даже “чижик-пыжика” / одним пальчиком <...>» — а принимая во внимание, что возможно, «В школу Борис пошёл сразу в третий класс. В первых двух ему просто нечего было делать» (*Фризен О. Дядя Боря; и в интервью* — «В школе учился легко. Из первого класса его почти сразу перевели в третий» [*Оксман А. «Я, рождённый в сорочке, сорочку променял на хорошую строчку...»*]; у остальных биографов, правда, об этом ни слова), то наверное, «после 5-го» — это восьмой, девятый или даже десятый.

заряжена кипучей и беспокойной настойчивостью в том, чтобы дети получили образование «...»<sup>134</sup> — и о том, что обязательная

Но не в этом суть. Прекрасно не то, что Слуцкий Бетховена с Моцартом забыл, а то, что Бетховен о нём помнит — Бетховенка, на сайте которой (<http://www.bethovenka.kh.ua/>) написано (и это единственное официальное учреждение Харькова, что знает-помнит, гордится Слуцким): «Серед видатних “бетховенців” — «...» поет Б. Слуцкий «...» («Народна артистка СРСР Л. Гурченко там тоже есть, идёт первой). Собственно ж, и Слуцкий, несмотря на ««...» ты глуп, неблагодарен, / тебе на ухо наступил медведь» — благодарен, зла не держит, наоборот: «Меня оттуда выгнали за проф / так называемую непригодность. / И всё-таки не пожалею строф / и личную не пощажу я гордость, / чтоб этот домик маленький воспить, / где мне пришлось терпеть и претерпеть» (вопросы ж не к школе — к матери. Ну или к себе, если хотите), да и потом при случае вспомнит: «Я был в этой юности — юным, / в той молодости — молодым / с тем жаром, огнём этим южным / естественно связан мой дым. / Учили нас на рояле, / а после — наоборот, / у нас в паспортах стояли / один и тот же год, / один и тот же город, / одна и та же страна «...» («Я был в этой юности — юным...» — «Дружба народов», 2018, № 5, публикация А. Крамаренко).

И напоследок — о музыке, её месте и мести, музыкальной школе и если гора не идёт к Магомету: переехав после войны в Москву, Слуцкий попал самое туда, откуда сбежал в Харькове: «Я жил над музыкальной школой. / Меня будил проворный, скорый, / Быстро поспешный перебряк: / То гармонисты, баянисты, / А также аккордеонисты / Гоняли гаммы так и сяк. / Позднее приходили скрипки, / Кларнет, гитара и рояль. / Весь день на звуке и на крике / Второй, жилой этаж стоял. / «...» Гремели из дому громá, / Певцы ревели, как пророки. / А наш второй этаж, жилой, / Оглохнув от того вокала, / Лежал бесшумною золой / Над красным пламенем вулкана» («Второй этаж», из «Памяти»).

Впрочем, есть ещё одно небольшое, важное дополнение — о «гуле» и «музыке души»: ей аккомпанировали, а может, и контрапунктировали, другие звуки, мелодии места, где Слуцкий вырос. Вы помните, «Я рос в тени завода / И по гудку, как весь район, вставал «...» / справа, слева, спереди — кругом / Ходил гудок. Он прорывался в дом «...» — и к этому следует добавить «Я на медные деньги учился стихам — / На тяжёлую, гудковую медь. / И набат этой меди с тех пор не стихал, / До сих пор продолжает греметь. / Мать, бывало, на завтрак даёт мне пятак, / А позднее — и два пятака. / Я терпел до обеда и завтракал так, / Покупая брошюры с лотка. «...» / Весь квартал наш / меня сумасшедшим считал, / Потому что стихи на ходу я творил, / А потом на ходу с выраженьем читал. / А потом сам себе: “Хорошо!” — говорил» («Медные деньги», тоже «Память», причём в «Памяти» «Медные деньги» идут сразу же за «Гудками», а «Первую свою книгу Б. Слуцкий обдумывал долго и составлял тщательно», ««...» “Память” — один из самых сильных книжных дебютов в поэзии 40–60-х, самая “выстроенная” книга Бориса Слуцкого» (Болдырев Ю. Примечания. — В кн.: Слуцкий Б. Т. 1, сс. 512, 513).

<sup>134</sup> Болдырев Ю. «Выдаю себя за самого себя...», с. 8.

Болдырев деликатен, сам Слуцкий в том неопубликованном биоочерке прямее: «Тупо, нехотя учился музыке. С отвращением шёл к пианино... Уже много лет как мать успокоилась, но тогда, когда мне было восемь — десять — двенадцать и матери тридцать с небольшим, я её помню всегда кипящей» (Горелик П., Елисеев Н. «По течению и против течения...», с. 14). «Кипящей» у Слуцкого не в смысле «кипучей», а явно

программа (вместе с тем самым домашним пианино) должна быть выполнена, а всё остальное — не в ущерб ей. В правила же отца — не стихи, может, не само сочинительство — а шире, род деятельности, что ли, такой, направление, попытка осмыслить, упорядочить мир («Непорядок», — думал отец. <...> / До сих пор в ушах это слово <...>. / Мировая — ему казалось — беда / оттого, что каждый хороший закон / соблюдается, / но не совсем до конца»), принимался, включался.

Прямолинейных совсем ответов насчёт отношения матери к его поэзии в детстве у Слуцкого нет (достаточно и «Отец сдерживался. Мать не сдерживалась»), но есть очень красноречивое, и тоже загадочное — однако в контексте сказанного уже не очень: «Мать пестует младенца — не поэта. / Он из дому уходит раньше всех. / Поэмы “Демон” или же “Про это” — / не матерей заслуга и успех. // Другие женщины качают колыбели / стихотворений лучших и поэм, / а матери поэтов — ослабели, / рождая в муках, и ушли совсем. // В конце концов, когда пройдут года, / на долю матери один стишок достанется, / один стишок из всего блистания. / И то — не каждой. Тоже — не всегда». Этот «стишок» не один о матери, но как и другие написанные в 1970-е о ней, — на прощание, она умерла в 1974-м (отец раньше) в Москве, болела, Слуцкий забрал её в себе лечиться, похоронили её в Харькове. Это, конечно, совсем другие стихи, не из детства: «Самый старший долг плачу: / с ложки мать кормлю в больнице. / Что сегодня ей приснится? / Что со стула я лечу? // <...> Но какой ни выйдет сон, / снится маме утомлённой: / это он, / это он, / с ложки / некогда / кормлённый» — «Самый старший долг» из «Неоконченных споров», следующее в книге — «Женская палата в хирургии» — тоже: «Надо так усесться с мамой рядом, / чтобы не обеспокоить взглядом / женщин. Им неладно без меня, операций неотложных ждущим, / блёкнущим день ото дня, / но стыдливость женскую — блюдушим. // Впрочем, за два месяца привыкли. / Попривыкли, говорю, с тех пор! / <...> // Мать, свернувшись на боку / трогательным сухоньким калачиком, / слушает, как я гоню тоску, / и довольна мною как рассказчиком. // <...> Отдаю гостинцы из кулька. / Получаю новые задания. / Матери

относится к чуть ранее там же сказанному «Отец сдерживался. Мать не сдерживалась. Но оба кипели».



шепчу: — Пока. — / Говорю палате: — До свиданья». Или «Хорошо. Хорошо» из опубликованного совсем недавно<sup>135</sup>: «В прибольничном саду на скамье / место сыщется нашей семье. / На зелёной садовой скамейке / размещается наша семейка. // <...> Мать глядит сквозь сентябрь, сквозь меня / и сквозь небо в неясную бездну. // Обнимаю родимую, бедную, / умирающую стремглав / и целую холодную бледную / руку, тихо губами припав. // Мама шепчет мне: “Хорошо. Хорошо” — / говорит то и дело, / а времени колесо / останавливается: заело».

Не знаю, стóбит ли уточнять<sup>136</sup>, что и для матери Слуцкого этот-взрослый не то же, что ребёнок, который мог выучиться, а мог и застрять на базаре (как отец), — иные отношения; но в харьковских, стихах о детстве, образ матери такой, как в «Музшколе имени Бетховена» — «неча фраз подбирать» — авторитарный, не разменивающей на второстепенное, в том числе детские комплексы: «Гимназической подруги / мамы / стайка дочерей / светятся в декабрьской вьюге, / словно блики фонарей. // <...> Сколько лет нам? Девять? Восемь? / Ёлка первая светла. / Я задумчив, грустен, тих: / в нашей школе нет таких. // Как зовут их? Вика? Ника? / Как их радостно зовут! / — Мальчик, — говорят, — взгляни-ка! / — Мальчик, — говорят, — зовут! — / Я сгораю от румянца. / Что мне, плакать ли, смеяться? // — Шура — это твой? Большой. / Вспомнила, конечно. Боба. — / Я стою с пустой душой. / Душу выедает злоба. / Боба!<sup>137</sup> Имечко! Позор! / Как терпел я до сих пор!» («Ёлка» из «Годовой стрелки»).

<sup>135</sup> Дальше предела. Неизвестные стихи Бориса Слуцкого. Публикация А. Крамаренко. — «Независимая газета — Ex libris», 2018, № 15 (932), с. 12.

<sup>136</sup> И приводить письма — вот это: «Дорогой сыночек! Получила твою новую книжку стихов. Читаю и перечитываю — мне очень нравится — спасибо тебе дорогой сыночек не забываешь маму (без точки и запятой — А. К.) Сейчас читаю твою книгу — мне очень всё в ней нравится — с большим удовольствием читаю и перечитываю» (Фаликов И. Борис Слуцкий: Майор и муза. Главы из книги. — «Дружба народов», 2018, № 6).

<sup>137</sup> «Дед хотел назвать его Бэр — медведем, но, понимая, что жить ребёнок будет в русской среде, первенца назвали Борисом» (Фризен О. Дядя Боря). Бэр — «медведь» на идише; Борис — приближённое к еврейскому Барух, на иврите — «благословенный». Барухом, кажется, никто Слуцкого не называл, — кроме Бродского, говорившего за глаза «Добрый Борух» («Добрый Бора, Бора, Борух» — Сергеев А. На полпути к гибели. — «Общая газета», 1997, № 4, с. 16).

Да, портрет матери из детства у Слуцкого «холоднее» портрета отца, что при всей хмурости, измученности работами, добыванием денег («дети наших усталых и хмурых отцов», «Вот он новость нашёл. / Вот он хмуро глядит»), замкнутости — обнадёживает, что не вмешиваясь, давал сыну свободу выбора: стихи так стихи, музыка так музыка, — а с матерью Слуцкому-маленькому приходилось выкручиваться, чтоб выйти из-под её въеденья, её установок, и «...» думаю, Борис занимал в её душе особое место. Он рано дал почувствовать свою незаурядность, и к той доле любви, которая ему, так сказать, причиталась, примешивалось в материнском сердце и чувство гордости. Она угадывала высокое предназначение сына, и чувство её не обмануло. Дочь учителя русского языка, она не только поняла, но и одобрила выбор сыном литературного пути<sup>138</sup> — это поздняя экстраполяция, лакировка, как и портрет отца — анти-. Нигде ж у Слуцкого нет, что «отец вколачивал (...)» (а в случае проступков — и в буквальном смысле) «...», но есть: «Хочется перечислить несколько / Наиболее острых и неудобных / Углов, куда меня загоняли. // Мать говорила: марш в угол! / Я шёл, становился и думал. / Угол был не самый худший. / Можно было стоять и думать»<sup>139</sup>. Вместо «вколачивал» (заповеди) у Слуцкого — «заповедовал» (правила); но что делать, если таковы законы портретного жанра — семейной фотографии, где кто хмур, тот и проигрывает, получая роль антигероя. А что если антигероев нет?

«Мать говорила: марш в угол!» и «...» меня за шиворот хватала / и в школу шла, размахивая мной» не отменяет, разумеется: «Хорошо помню родителей Бориса. Его мать, Александра Абрамовна, была женщиной мягкой, образованной, внушавшей к себе уважение. Борис был внешне похож на мать. Я помню её высокой, стройной, светлоглазой. Прямые волосы придавали мужественность её мягким чертам. Добрая улыбка не сходила с её лица, и вме-

---

По поводу своего имени у Слуцкого есть в одном из самых ранних, 1941 года, стихов — «Неоконченных размышлениях»: «Еврейские старцы в подвал собрались, / Чтоб там над лежанкой глиняной / Случайно / меня / наректи / “Борис” / Татарского мстителя именем» (*Левитина В.* Так начинал... Воспоминания о Борисе Слуцком. — «Дружба народов», 2010, № 5).

<sup>138</sup> *Горелик П.* Друг юности и всей жизни, с. 30.

<sup>139</sup> «Углы», из стихов рубежа 1950–1960-х, т. е. до смерти матери. И там же «Угол зрения. В этот угол / Меня загоняли неоднократно».

сте с тем в её лице чувствовалась способность к подвигу — во имя детей, во всяком случае. Её сердце было открыто для других; чужие радости и горести вызывали в нём чуткий отклик. Это я сразу почувствовал по её доброму отношению ко мне. Натура широкая, равнодушная ко всему, что происходило в мире, она всю себя без остатка отдала детям. Её отличала глубокая интеллигентность — качество довольно редкое в окрестностях Конного базара. Интеллигентность проявлялась во всём: в воспитании детей, которых она учила музыке и английскому, в отношении к их товарищам, во взаимоотношениях с соседями, в отношении к Анне Николаевне. Люди, привыкшие к семейным скандалам и дворовым потасовкам, старались сдерживать себя в её присутствии<sup>140</sup>, — нормальная разница между отношением матери ко всем и к сыну, который лучше всех и, да, должен быть ещё лучше.

Формула ««...» сопротивляясь музыке учебной / и повинуюсь музыке души» (если это формула) относится и к школе вообще, так таковой, тут тоже нарушение портретного жанра: первый ученик, звезда, преисполненный благодарности, и т. п. Слуцкий, как обычно, беспощаден к себе, а значит, и ко всему остальному: если «Школа многому не выучила — / не лежала к ней душа»<sup>141</sup>, так оно и было для него. В других стихах — другими словами. «Позабыта вся алгебра — вся до нуля, / геометрия — вся, до угла — позабыта, / но политика нас проняла, доняла <...>»<sup>142</sup> и — «Польза невнимательности»<sup>143</sup>:

Не слушал я, что физик говорил,  
и физикой мозги не засорил.  
Математичка пела мне, старуха,  
я слушал математику вполуха.

Покуда длились школьные уроки,  
исполнились науки старой сроки,

<sup>140</sup> Горелик П. Друг юности и всей жизни, с. 29.

<sup>141</sup> «Если бы война не выручила, / не узнал бы ни шиша» («Школа войны» из «Неоконченных споров»).

<sup>142</sup> «Моя средняя школа» из «Доброты дня».

<sup>143</sup> Из «Неоконченных споров». (Но из трёхтомника Болдыревым почему-то выброшенное.)

и смысл её весь без вести пропал.  
А я стишки за партою кропал.

А я кропал за партою стишки,  
и весело всходили васильки  
и украшали без препон, на воле,  
учителями паханное поле.

Голубизна прекрасных сорняков  
усваивалась без обиняков,  
и оказалось, что совсем не нужно  
всё то, что всем тогда казалось нужно.

Ньютон-старик Эйнштейном-стариком  
тогда со сцены дерзко был влеком.  
Я к шапочному подоспел разбору,  
поскольку очень занят был в ту пору.

Меняющегося мироздания грохот,  
естественниками проведённый опыт  
не мог меня отвлечь или привлечь:  
я слушал лирики прямую речь.

Равно то же, что «Музшколе имени Бетховена». А в антисоветском (чтоб не говорили, что Слуцкий — советский) «Как сделать революцию» и того пуще, онтологичней:

С детства, в школе,  
меня учили,  
как сделать революцию.  
История,  
обществоведение,  
почти что вся литература  
в их школьном изложении  
не занимались в сущности ничем другим.  
Начатки конспирации,  
постановка печати за границей,  
её транспортировка через границу,  
постройка баррикад,  
создание ячеек  
в казармах —  
всё это спрашивали на экзаменах.

Не знавший,  
что надо первым делом  
захватывать вокзал,  
и телефон, и телеграф,  
не мог окончить средней школы!  
Однако,  
на проходивших параллельно  
уроках по труду  
столяр Степан Петрович  
низвёл процент теории  
до фраз:  
это — рубанок.  
Это — фуганок.  
А это (пренебрежительно) — шерхебок<sup>144</sup>.  
А дальше шло:  
вот вам доска!  
Берите в руки  
рубанок, и — конец теории!  
Когда касалось дело революции,  
конца теории  
и перехода к практике —  
не оказалось.  
Теория,  
изученная в школе  
и повторённая  
на новом, более высоком уровне  
в университете,  
прочитанная по статьям и книгам  
крупнейших мастеров  
революционной теории и практики,  
ни разу не была проверена на деле.  
Вообразите  
народ,  
в котором четверть миллиарда

---

<sup>144</sup> Болдырев комментирует: «Шерхебок — ошибочно, правильно шерхебель — рубанок с полукруглым резцом для первичного, грубого строгания» (Болдырев Ю. Примечания. — В кн.: Слуцкий Б. Т. 3, с. 482), — но не, не Слуцкий ошибается: по-украински «шерхебель» — «шерхебка», по-харьковско-украински — «шерхебок» (как харьковское «аполонник» не от русского «половник», а от украинского «ополоник»). Да и у Слуцкого ж это в прямой речи.

прошедших краткий курс  
(а многие — и полный курс)  
теории,  
которую никто из них  
ни разу в жизни  
не пробовал на деле!<sup>145</sup>

Исследователи пишут об иронии Слуцкого, кто-то говорит: сарказм; мы употребляли слова «издевается» и «ухмылочка» и, по-моему, ни разу «дерзит», однако именно это качество характеризует его с наилучшей стороны. В «Хвастовстве памятью» (из середины 1970-х), где «...» у меня была такая память — / память отличника средней школы», Слуцкий себя-школьника видит, помнит таким, хочет, чтоб и мы его таким в детстве, а может, и всегда (недаром же баллада посвящена жене, автопортрет в подарок), видели: «В детстве новый учитель истории, / умный студент четвёртого курса / задал нам для знакомства с нами: / напишите на отдельном листочке все известные вам революции. / Все написали две революции — / Февральскую и Октябрьскую. / Или три — / с девятьсот пятым годом. / Один написал Великую Французскую, / а я написал сорок восемь революций, / навсегда поссорился с учителем истории, / был освобождён от уроков истории / и покончил с этим вопросом».

И так нам и следует воспринимать Слуцкого-школьника. В одном из самых последних<sup>146</sup> стихов — «Устных пересказах» — Слуцкий и хвастается памятью, и дерзит, издевается и смеётся, и над учителем, и над одноклассниками, и над собой:

Учитель был многосемен,  
но честно ношу нёс свою  
и мучился, как сивый мерин<sup>147</sup>,  
чтоб продовольствовать семью.

<sup>145</sup> Из стихов середины 1970-х.

<sup>146</sup> У него и датировка стоит, хотя Слуцкий обычно этого не делал, — 26 февраля 1977 г. (а самая-самая последняя дата под стихами — 3 мая, говорит Болдырев [Примечания. — В кн.: Слуцкий Б. Т. 3, с. 487]), его приводят Горелик и Елисеев («По теченью и против теченья...», с. 25-26).

<sup>147</sup> Сивый мерин же врёт или глуп, а не мучается. Но у Слуцкого лошади мучаются, и даже тут.

А при почасовом окладе  
мы тоже были не внакладе  
в часы родного языка.  
И жизнь у нас была легка.

Он лишь немного предварял  
мой устный пересказ романа.  
Вполуха слушал: без обмана.  
Потом тетради проверял.

Потом надолго уходил:  
то параллельный класс проведать,  
то попросту домой — обедать,  
покуда курс я проходил.

Пересказал я всё на свете:  
«Войну и мир», «Отцы и дети»,  
и «Недоросль», и «Ревизор»  
своим я словом перепёр.

Метода та преподаванья  
не вызвала негодованья  
у класса моего. Мой класс  
за годом год, за часом час  
внимал без слов моим сказаньям,  
и затаённым их дыханьям  
я, начинающий поэт,  
великий излагал сюжет.

Потом, спустя десятилетия,  
они проверили в кино  
всё то, что я давным-давно,  
вставляя только междометья,  
довольно верно изложил  
и тем любовь к литературе,  
пусть в пересказе, не в натуре,  
фундамент верный заложил.

Пётр Горелик помнит этого учителя: *«После четвёртого класса часть учеников 11-й школы перевели в другую семилетку, и мы с Борисом оказались в разных школах. Но наша дружба и предве-*

черные прогулки продолжались. Осенью 1934 года седьмые классы 11-й школы стали учиться в новой десятилетке, построенной недалеко от крупных харьковских заводов-гигантов — паровозостроительного и электромеханического. Это было лучшее современное школьное здание города с двухсторонним естественным освещением классов, отличными лабораториями и кабинетами. Некоторые учителя 11-й перешли в новую школу, появились и новые, до того незнакомые. Русскую литературу вёл новый учитель Соломон Фрадков. Обременённый большой семьёй, он преподавал литературу по инерции; готовиться к занятиям у него не было времени. Выручали его многолетний опыт и Борис. Всегда, когда Соломон уходил с урока на рынок или в соседний класс, он оставлял за себя Бориса. Это о нём Борис написал стихотворение «Устные пересказы» «...». Соломон был человеком не вредным, мы относились к нему с сочетанием жалости и уважения. Пожалуй, жалости было больше. Школа имела двойной номер 83/94-я. В одном здании находилась украинская 83-я и русская 94-я. В эти годы и сложились представления о личности Слуцкого-юноши»<sup>148</sup>.

94-я и поныне на том же месте, ул. Плехановская, 151, не носит ничего имени, а могла бы — Слуцкого, и вместо трогательного анонимного гимна про голубка<sup>149</sup> — допустим, не побояться

<sup>148</sup> Горелик П., Елисеев Н. «По течению и против течения...», сс. 25, 27.

<sup>149</sup> «От центра в стороне, / От центра в стороне / Стояла наша школа, / Плыл детства голубок, / Плыл детства голубок / В заоблачных мирах. / По праздникам у нас, / По праздникам у нас / Включалась радиолоа» и т. д. с сайта школы ([http://www.school94.edu.kh.ua/informaciya\\_pro\\_shkolu/simvoli\\_shkoli/](http://www.school94.edu.kh.ua/informaciya_pro_shkolu/simvoli_shkoli/)), где о Слуцком ничего, впрочем, ни о ком, только о директорах, и кроме них об истории школы: ««...» перша в місті школа-десятирічка, заснована в 1936 році», что на три года ошибочно, а за более точными сведениями надо обращаться к сайту её в первые годы сиамской 83-й: ««...» 1933 році, українська 83-я середня школа була розміщена в будівлі російської 94-ї в селищі «Красный луч» (тепер це місто Харків, зупинка Соїча). 83-я — 94-та школи (це був єдиний комплекс) нараховували 5 тисяч учнів та 150 учителів. Вже тоді були класи-кабінети, лабораторії, гуртки: технічні, гуманітарні, драматичні, оранжеря, теплиця, басейн. Всі учні були охоплені позакласною роботою за інтересами. Школа, її обладнання та навчання учнів відповідали високому світовому стандарту. Це був один з перших в республіці великий учбовий комбінат з широкою матеріально-технічною базою. В 1938 році 83-я українська школа була переведена в нове приміщення по вулиці Тарасівській» ([http://www.gymnasium83.edu.kh.ua/informaciya\\_pro\\_gimnaziyu/istoriya\\_gimnazii/](http://www.gymnasium83.edu.kh.ua/informaciya_pro_gimnaziyu/istoriya_gimnazii/)). Да, жалко, что Слуцкий учился не в ней, возможно, о нём помнили бы, как помнят — «Дошка пошани» — о его друге детства: «Гегузін Яків, доктор фізико-математичних наук, професор ХНУ ім. В. Н. Каразіна» (об их дружбе со Слуцким кратко рассказывает жена Гегузина Суламифь Лихтарёва: *Лих-*



это — характерное слуцкое ёрническое, уже дважды к месту цитировавшееся «Моя средняя школа»:

*тарёва С.* О Борисе Слуцком — друге и поэте. — «Вестник», 2002, № 11 [296]; *Лихтарёва-Гигузина С.* Его стихи мы запоминали. — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 510–511 [тут у составителей — «и» — ошибка в фамилии]).

Но не зная о Слуцком, 83-я не подозревает и о роли, которую сыграла в его жизни — не, в мировой поэзии в целом, я не преувеличиваю, ничуть: «В девятом классе Борис увлёкся девушкой из украинской школы. В своих воспоминаниях Борис не сообщает её имени и называет “Н”. Теперь можно раскрыть эту тайну. Звали её Надя Мирза» (*Горелик П., Елисеев Н.* «По течению и против течения...», с. 30). Горелик имеет в виду это: «Осенью 1937 года я поступил в МЮИ — Московский юридический институт. Из трёх букв его названия меня интересовала только первая. В Москвуехала девушка, которую я тайно любил весь девятый класс. Меня не слишком интересовало, чему учиться. Важно было жить в Москве, не слишком далеко от этой самой Н.» (*Слуцкий Б.* О других и о себе, с. 166), — дополненное через несколько страниц однозначным признанием: «Серьёзно читать стихи я начал рано, лет в 10–12. Серьёзно писать — поздно, лет в 18, под влиянием всё той же любви, которая вытолкнула меня в Москву. Я писал и понимал, что пишу плохо» (*Слуцкий Б.* О других и о себе, с. 169). Но а нам, конечно же, ещё и слово «вытолкнула» интересно: любил Слуцкий Харьков, не любил («...» тогда в детстве любил, наверное»), но ведь именно «вытолкнула», ничто иное, если б он хотел подобрать другое слово, подобрал бы, не сомневайтесь.

«Её звали Надя Мирза. Это была милая скромная девушка, с красивым умным лицом, интуитивно чувствовавшая интерес к себе со стороны Бориса и также тайно переживавшая свои чувства к нему. Она и не подозревала, что ей были посвящены его первые стихи. Их отношения держались на флюидах, чувства были скрытые, стихи сентиментальные. Борис читал их мне и не скрывал, что стыдится их. В последующем сделал всё, чтобы забыть эти стихи. Того же требовал и от меня. Запомнилось лишь несколько строчек: «...» (*Горелик П.* Друг юности и всей жизни, с. 59) — но нет так нет, раз требовал. Хотя это была единственная любовная лирика у него, больше он ничего такого не писал, дальше — война и только эпос.

И — как всё закончилось: «Я почти сразу понял, что юриспруденция мне ни к чему. Н. разонравилась, как только я присмотрелся к московским девушкам» (*Слуцкий Б.* О других и о себе, с. 169), — а Пётр Горелик добавляет: «Они оба, и Надя и Борис, из Москвы ушли на фронт. Наши фронтовые адреса, мой и Бориса, Наде сообщила школьная подруга. Мне Надя писала: “Я часто вспоминаю Бориса... Надеюсь, возможно и зря, что удастся завязать переписку с Борисом. Мне этого хочется. Хочется потому, что с Борисом связаны хорошие воспоминания о прошлом. А оно дорого мне... Ведь мы почти встречались с ним...” Это почти говорит о многом. Вскоре Борис писал мне: “Получил письмо от Нади. Написал ей большое письмо — соответственно хорошим воспоминаниям, которые у меня сохранились. Всю молодость вспомню. Она на Волховском фронте с начала войны”. Их переписка, насколько мне известно, продолжения не имела» (*Горелик П.* Друг юности и всей жизни, с. 59). Ну разве что в одностороннем порядке привет по случаю: «Я не помню, что беженка пела, / Скоро голос солдатки затих. / Да и в этой ли женщине дело? / Дело в женщинах! Только — в других. // Вы, в кого был несчастно влюблённым, / Вы, кого я счастливо любил, / В дни, когда молодым и зелёным / На окраине Харькова жил! // О девочке из нашей школы! / Я вам шлю свой сердечный привет, / Позабудьте про факт невесёлый, / Что вам тридцать и более лет. // Вам ещё блистать, красоваться! / Вам

Девяносто четвёртая полная средняя!  
Чем же полная?  
Тысячью учеников.  
Чем же средняя, если такие прозрения  
в ней таились, быть может, для долгих веков!

Мы — ребята рабочей окраины Харькова,  
дети наших отцов,  
слесарей, продавцов,  
дети наших усталых и хмурых отцов,  
в этой школе учились  
и множество всякого  
услышали, познали, увидели в ней.  
На уроках,  
а также и на переменах  
рассуждали о сдвигах и о переменах  
и решали,  
что совестливей и верней.

Долгий голод — в начале тридцатых годов,  
грозы, те, что позднее над страной разразились,  
стойкости  
перед лицом голодов  
обучили,  
в сознании отразились.

Позабыта вся алгебра — вся до нуля,  
геометрия — вся, до угла — позабыта,  
но политика нас проняла, доняла,  
совесть —  
в сердце стальными гвоздями забита.

Нет, кроме шуток, 94-й нужно гордиться<sup>150</sup> — о ней у Слуцкого столько всего, в его харьковских стихах она и Конный рынок, всё остальное на втором месте. «— Стукнемся! — говорили в Харькове / в 94-й средней школе» с концовкой «<...> что я единственный из 94-ой / не позабыл специального слова: / “Стукнемся!”» мы ещё сердца потрясать! / В оккупациях, в эвакуациях / Не поблёкла ваша краса! // Не померкла, нет, не поблёкла! / Безвозвратно не отошла, / Под какими дождями ни мокла, / На каком бы ветру ни была!» («Воспоминание» из «Сегодня и вчера»).

<sup>150</sup> Как минимум табличка, да?

уже приводили, но и без номера она хорошо узнаётся в «Какой полковник к нам пришёл! // А мы построились по росту. / Мы рассчитаемся сейчас. / Его веселье и геройство / легко выравняет нас. // Его звезда на гимнастёрке / в меня вперяет острый луч. / Как он прекрасен и могуч! / Ему — души моей восторги. // Мне кажется: уже тогда / мы в нашей полной средней школе, / его / вверяясь / мощной воле, / провидели тебя, беда, / провидели тебя, война, / провидели тебя, победа!»<sup>151</sup> и «Снимок школьного выпуска — / сорок проектов судеб, / утверждённая выписка, / общая справка на хлеб. // Разгребаю завалы / слежавшегося забытья: / всё овалы, овалы / и в одном из них я. // Ну и рожи мы корчили, / чуяли, верно, беду. / Своевременно кончили / в тридцать таковском году»<sup>152</sup>. Наверняка ж к ней относится и это: «Моё первое личное дело. Школьное — / то, что школьной тетрадки не толще, / ещё неотягощённое, вольное, / коротенькое, тощее. // В общем, был ли какой надо мною контроль, / я об этом не знал ни шиша. / И я вёл свою роль, как весёлый король / опереточный! Общества то есть душа»<sup>153</sup>, и это: «Харьков. Мы в его средних школах: / то вбиваем в ворота гол, / то серчаем в идейных спорах, / то спрягаем трудный глагол»<sup>154</sup>, и вот это:

<sup>151</sup> «Какой полковник!» из «Неоконченных споров» — но в трёхтомнике нет, как и многих стихов этой и других книг, что Болдырев не объясняет и никак не оговаривает. Просто нужно иметь в виду, что трёхтомник по сравнению с изданным до него Слуцким неполон и состав книг в нём не отражает реальный; наверное, исключённое Болдыреву казалось слабее, не знаю. И то же — в отношении предыдущих публикаций: «Юность»; 5-й номер 1972-го года. На страницах 28, 29 — подборка новых стихотворений Слуцкого и ранее неизвестных военных лет. Стихи разные, но безошибочно слуцкие. Одно из них, «Красавица», начинается шокирующими для того времени строками: «В середине четвёртого года войны / снятся юношам сексуальные сны». В 3-томник поэта, который Юрий Болдырев составлял на протяжении многих лет и издал в 1991-м году, вошли все тексты из подборки, за исключением двух — «Скалы в гальку передобило...» и «Розовые лошади». Не были включены они и ни в какие другие сборники поэта, подготовленные Болдыревым. Несомненно, его решение было продуманным. Несмотря на то, что 3-томник предполагался им как единственно полный и окончательный вариант всего наследия Слуцкого, многие стихотворения, которые доподлинно были ему известны, оказались за бортом» (*Гринберг М.* Лошади Слуцкого: метапоэтическое прочтение библейского поэта. — «Слово\Word», 2009, № 61).

<sup>152</sup> Опубликовано Болдыревым в «Советской Татарии» в 1989-м (<http://exitum.org/forum/topic/17107/>), но в трёхтомник не включено.

<sup>153</sup> «Мои старые юные фотографии...», начало 1960-х.

<sup>154</sup> «Как использовать машину времени?» из «Неоконченных споров». В трёхтомнике нет.

«Я в Харькове опять. Среди аллей / Солидно шелестящих тополей — / Для тени, красоты и наслаждений / Посаженных народом насаждений. / Нам двадцать с лишним лет тому назад / Обещано: здесь будет город-сад. / И достоверней удостоверений / Тополя над Харьковом шумят. // Да, тополь был необходимым признан — / Народом постановлено моим, / Что коммунизм не станет коммунизмом / Без тополиных шелестов над ним. / И слабыми, неловкими руками / Мы, школьники, окапывали ямы / Для слабеньких и худеньких ростков.<sup>155</sup> // Их столько зорких стерегло врагов! / Их бури гнули. Суховеи жгли. / Под корень оккупанты вырубали. / Заборами, дровами и гробами, / Наверно, тыщи тополей пошли<sup>156</sup>,<sup>157</sup>.

Меньше, но есть, баллад о семилетней школе, где Слуцкий учился до перехода в 94-ю (Болдырев пишет о трёх школах Слуцкого, но имеет в виду, скорее всего, и музыкальную), ту самую, куда «По Молочной по улице / (в Харькове) долго идти / было из дому в школу. / Надо бы протяжённость / перепроверить пути. / Может быть, и не долго, / а скоро»<sup>158</sup>. Пётр Горелик говорит — два квартала: «Осенью 1927 года Борис поступил в первый

<sup>155</sup> И это уже третья баллада об «озеленении и украинизации» (а во второй, «Деревья и мы», осталось не процитированным перекликающееся «Всего было мало. / Всего не хватало / Детям и взрослым того квартала, / Где рос я. / Где по снегу в школу бежал / И в круглые ямы деревья сажал» и «Как мы, худые, / Как мы, зелёные, / Как мы, весёлые и обозлённые, / Не признающие всяческой тьмы, / Они тянулись к свету, как мы»). Б. Красицкий пишет: «Хочу обратить внимание на одну чрезвычайно важную особенность развития города того времени. О Харькове дореволюционным говорили как о пыльном городе. В период реконструкции, особенно в тридцатые годы, началось озеленение городских улиц» (*Красицкий Б. М. Столичный Харьков — город моей юности*, с. 109). Город озеленялся везде, но как раз в это время, в 1934–1937-м, рядом с 94-й школой на месте Кирилло-Мефодиевского кладбища и церкви разбили парк Артёма (теперь, после декоммунизации, Машиностроителей — неподалёку завод им. Малышева и др.), где высадили в том числе и тополя.

<sup>156</sup> Последние из тополей вырубаются уже сегодня. Бой Кернеса с тополем (за древесину и место под новые, из городского бюджета саженцы) идёт уже лет десять (<https://2day.kh.ua/kernes-protiv-derevev-pochemu-gorsoviet-unichtozhaet-parki-i-skv-ery/>; [https://antikor.com.ua/articles/258419-mer\\_harjkova\\_kernes\\_rasporjadilsja\\_vyrubitj\\_612\\_topolej](https://antikor.com.ua/articles/258419-mer_harjkova_kernes_rasporjadilsja_vyrubitj_612_topolej)), Кернес побеждает.

<sup>157</sup> «Тополя» из «Времени».

<sup>158</sup> «Хорошо бы проверить...» («Дружба народов», 2018, № 5).

класс<sup>159</sup> 11-й школы. Школа находилась на Молочной улице, в двух кварталах от дома. Четырёхэтажное здание бывшей гимназии, облицованное зелёной керамической плиткой, выделялось среди подслеповатых домишек и мазанок пролетарской окраины. К его двору примыкал большой ухоженный плодоносящий сад, гордость школы, сохранивший первозданный вид с гимназических времён благодаря неусыпному вниманию Михаила Ивановича Дубинченко — бывшего учителя гимназии, а затем директора школы. Он был кумиром учеников. Усы, свисавшие по обе стороны рта, делали его похожим на запорожца. Жил он при школе. Его квартира и кабинет располагались на четвёртом этаже рядом с кабинетом биологии, которую Михаил Иванович преподавал в старших классах. Знаменитый сад был для него как бы продолжением кабинета биологии. В начале тридцатых годов этот добрый и уважаемый человек стал жертвой борьбы с украинизацией и неожиданно для учеников исчез»<sup>160</sup>.

Той старой 11-й школы, стоявшей на Молочной, 38, уже нет, теперь по этому адресу многоэтажка с Харьковским международным медицинским университетом, а школа № 11, находящаяся в другом районе, ведёт отсчёт с 1961 года и о Слуцком не знает. Зря, ведь будь она старой 11-й, к ней бы чётко относились слова «Как будто бы доброе дело / я сделал, что в Харькове жил, / в неполную среднюю бегал <...>» («Тридцатые годы» из «Работы»), — но в этом месте нужно обрывать, чтоб не наложилось последующее «<...> позднее — в вечерней служил», ибо тут у Слуцкого без предупреждений резкий перескок, это доброе дело относится уже не к Харькову и может, если вне контекста, запутать. А контекст таков: «В те годы я учился сам, / Но вечером преподавал историю <...>» из «Школы для взрослых» («Память»), заканчивающейся объяснительным «<...> Шагал из института на урок», и речь, понятно теперь, об учёбе в Москве. Почему московский институт возникает в чисто харьковской балладе и что именно за доброе

<sup>159</sup> Мы помним, племянница говорит «сразу в третий», но может, это семейная легенда или считать нужно как-то иначе. Тем более что в 1927-м Слуцком уже исполнилось восемь. До восьми был на домашнем образовании, затем «поступил в первый» и «сразу» переведён в третий?

<sup>160</sup> Горелик П., Елисеев Н. «По течению и против течения...», с. 17.

дело, «Тридцатые годы» не ответят — но ответит «Председатель класса» из стихов того же периода, рубежа 1950–1960-х:

Я был председателем класса  
В школе, где обучали  
Детей рабочего класса,  
Поповичей и кулачков,  
Где были щели и лазы  
Из капитализма в массы,  
Где было ровно сорок  
Умников и дурачков.

В комнате с грязными партами  
И с потемневшими картами,  
Висевшими, чтоб не порвали,  
Под потолком — высоко,  
Я был представителем партии,  
Когда нам обоим с партией  
Было не очень легко.

Единственная выборная  
Должность во всей моей жизни,  
Ровно четыре года  
В ней прослужил отчизне.  
Эти четыре года  
И четыре — войны,  
Годы без всякой льготы  
В жизни моей равны.

А если всё же не до конца отвечает, то «Я учитель школы для взрослых...» (из «Сегодня и вчера», т. е. того же рубежа 50–60-х) уж точно всё связывает воедино: «Я учитель школы для взрослых, / Так оттуда и не уходил — / От предметов точных и грозных, / От доски, что черней чернил. // Даже если стихи слагаю, / Всё равно — всегда между строк — / Я историю излагаю, / Только самый последний кусок. // Все писатели — преподаватели». И «председатели класса».

И всё-таки несмотря на это и прочие добрые дела в школе, несмотря на «Только из дому выйду, / На улицу выйду — / Всюду светлые краски такого разгара, / Словно шар я из пены соломин-

кой выдул / И лечу на подножке у этого шара»<sup>161</sup>, — «Жизнь, состоявшая из школы, / семьи, и хулиганской улицы, / и хлеба, до того насущного, / что вспомнить тошно, — // жизнь не имела отношения / к романам: к радости и радуге, / к экватору, что нас охватывал / в литературе», как и должно быть. Но по ту сторону экватора Харьков не исчезал, и уж точно это не двоemiрие романтиков и символистов, оптически Слуцкий накладывает слои или смотрит на одно сквозь другое, как в призму — и тогда можно жить: «Совершенно изолированно от двора, от семьи / и от школы / у меня были позиции свои / во Французской революции. / Я в Конвенте заседал. Я речи / беспощадные произносил. / Я голосовал за казнь Людовика / и за казнь его жены»<sup>162</sup>, / был убит Шарлоттой Корде / в никогда не виденной мною ванне. / (В Харькове мы мылись только в бане.) / В 1929-м в Харькове на Конной площади / проживал формально я. Фактически — / в 1789-м / на окраине Парижа. / Улицы сейчас, пожалуй, не припомню. / Разница в сто сорок лет, в две тысячи / километров — не была заметна». Это — «Три столицы (Харьков — Париж — Рим)»<sup>163</sup>, и уж здесь-то, опосредованный Парижем, Харьков преобразуется так, как Слуцкому нужно: «Отбывая срок в реальности, / каждый вечер совершал побег, / каждый вечер засыпал в Париже. / В тех немногих случаях, когда / я заглядывал в газеты, / Харьков мне казался

<sup>161</sup> «Летом» из «Времени». «Это детство. / Не впал я в него, / А поднялся».

<sup>162</sup> «...» человек, которого и многие годы спустя то уважительно, то иронически будут называть «комиссаром», «солдатом», даже «попом». Мне же более всего нравится определение, данное его давней знакомой М. И. Файнберг: «харьковский робеспьерист» (Болдырев Ю. «Выдаю себя за самого себя...», с. 9).

<sup>163</sup> Из «Доброты дня». Парижа в этой балладе много, а Рима нет совсем, есть только в конце парижский паренёк, двойник Слуцкого, «яростно» листавший «...» Плутарха, / чтоб найти у римлян ту / Республику, / ту самую республику, / в точности такую же / республику «...». Возможно, это из-за чеховского (как ответ, или вопрос) «Рим похож в общем на Харьков» — оно не такое неизвестное, особенно для харьковчан: «Антон Павлович Чехов в одном из писем, присланных из Италии, когда он приехал туда впервые, пишет: «Рим похож в общем на Харьков». Не выносивший пафоса, зная, что от него ждут восторженных восклицаний, он хотел этой фразой приземлить Рим, но при этом невольно возвысил Харьков. Ведь можно сказать и так: Харьков похож, в общем, на Рим!» (Инна Гофф, «Вчера он был у нас...» [1977]). Но в принципе, Чехов не был первый, кто приблизил Рим к Харькову, в «Слобожане. Малороссийские рассказы» (1854) Григорий Данилевский пишет о Харькове: «Не один из современников может применить к этому городу слова Августа: «Я застал Рим кирпичным, а оставляю мраморным!..»».

удивительно / параллельным милому Парижу <...>, «...» в точности такую же / республику, / как в неведомом, / невиданном, неслыханном, / как в невообразимом Харькове».

В 11-й школе обо всём этом, кстати, знали — Пётр Горелик называет Слуцкого «школьной знаменитостью»: *«Лучше всего запомнились предвечерние прогулки с Борисом. Всякий раз, когда представлялась возможность, мы встречались на углу Молочной и Михайловской<sup>164</sup> и отправлялись бродить по слабо освещённым переулкам вокруг Конного базара и Плехановки. Затихающая к вечеру харьковская окраина в стороне от трамвайных улиц, редкие тусклые фонари, дымок самоваров над дворами, запахи разросшейся сирени и акаций за перекошенными заборчиками палисадников, цоканье копыт битюга, лениво переступавшего после трудового дня, — всё это располагало к неторопливому разговору и мечтам. Борис, переполненный миром, приоткрывшимся ему в книгах, нашёл во мне благодарного слушателя. Он рассказывал мне историю. Но чаще всего читал стихи. Здесь в пыльных переулках Старобельской<sup>165</sup> и Конного базара Борис открылся мне той стороной, которая была неведома школьным поклонникам его детской эрудиции. Его подлинной и пока ещё глубоко скрытой страстью была поэзия<sup>166</sup> и «Борис поражал не только количеством прочитанных книг, но и знанием ценностей книжного рынка. Уже в ранние годы на деньги, сэкономленные от школьных завтраков, он собрал библиотеку раритетов. Не было для Бориса большего удовольствия, чем рыться в книжных развалах и на полках букинистических магазинов. Он мог не только рассказать содержание, но и многое о самой книге. Было немало таких книг, о которых он знал всё: кем и когда впервые издана, сколько выдержала переизданий, какое издание лучше и кем иллюстрировано, цензурные трудности и многое другое. Его невозможно было увидеть без книги. Когда в Харьковском театре русской драмы готовилась постановка “Гамлета”, Борис подарил режиссёру Крамову*

<sup>164</sup> Теперь это улица Руставели, Михайловской она была до 1922 года, а во времена Слуцкого и Горелика — Яковлева (пока его не расстреляли в 1938-м), но по видимому, в обиходе сохраняла старое название. Молочная с 1934-го по 2015-й была Кирова.

<sup>165</sup> С 1950-го — Храмова.

<sup>166</sup> Горелик П., Елисеев Н. «По течению и против течения...», с. 21.



изданную в Веймаре на английском языке режиссёрскую разработку «Гамлета»<sup>167</sup> знаменитого английского режиссёра Гордона Крэга с его собственными рисунками. Зная английский, Борис понимал,

<sup>167</sup> Гамлета Слуцкий любит и, так сказать, на страже его, защищает от постановщиков и пр. — в «Гамлете этого поколения...», например. И того же периода, середины 1970-х, харьковское «Мои первые театральные впечатления» — ещё и какие ёрнические:

В Харьков приезжает Блюменталь,  
«Гамлета» привозит на гастроли.  
Сам артист в заглавной роли.  
Остальное — мелочь и деталь.

Пьян артист, как сорок тысяч братьев.  
Пьяный покидая пир,  
кроет он актёров меньших братью,  
что не мог предугадать Шекспир.

В театр я пришёл почти впервые  
и запомню навсегда  
эти впечатления живые,  
подвиг вдохновенного труда.

В пятистопный ямб легко уложен  
обращённый королю и лолам  
многосоставной, узорный мат.  
Но меня предчувствия томят.

Я не подозреваю перепою.  
Но артисту прямо вперекор  
прозреваю в роли переборы,  
наигрыш и стилевой прокол.

Между тем события в королевстве  
Гамлетом подводятся к концу,  
о притворстве позабыв и лести,  
он удар наносит подлецу.

Кто уже отравлен, кто заколот,  
но артист неловок и немолод,  
вдруг сосну кровавит он доски  
всем ремаркам вопреки.

Занавес даётся строчек за сто  
до конца трагедии, и роль  
не доиграна. Уже он застит  
натуральную артиста кровь.

Зрители ныряют в раздевалку.  
Выражаю только я протест,  
ведь не шатко знаю текст, не валко —  
наизусть я знаю этот текст!

какая ценность попала в его руки, но расстался с ней без сожаления: его с детства отличало бескорыстие»<sup>168</sup>.

И для полноты портрета читателя в юности — из чуть более позднего периода, относящегося к 94-й школе: «На каждом комсомольском собрании, где почти всегда кого-нибудь принимали в комсомол, Борис задавал один и тот же вопрос: “Что вы читали за последние три месяца?” На фоне политических допросов, учиняемых поступающим, где самым лёгким считалось назвать всех членов Политбюро и всех Народных комиссаров, вопрос Слуцкого выглядел неприлично лёгким, поначалу возмущал руководство своей глубоко скрытой иронией, вызывал замешательство принимаемых и смешки “старых” комсомольцев. Вскоре к вопросу привыкли. Заранее и не без посторонней помощи составлялся список “прочитанных” книг. Даже великовозрастные лентяи, не бравшие в руки книги, бойко отвечали, пока не спотыкались на сложных именах иностранных авторов. Многих этот вопрос действительно обратил в читателей. Через год спрашивать о чтении стало ритуалом. В отсутствие Слуцкого вопрос задавали другие, и тогда Слуцкий как бы незримо присутствовал на собрании»<sup>169</sup>.

Далее Пётр Горелик приводит большой список читаемого и обсуждаемого Слуцким тогда, сам Слуцкий в очерках-воспоминаниях сживает его до главного:

«Первая настоящая книга стихов, которую я прочел по-настоящему, то есть выучил наизусть, была красноватый кирпи-

Я хочу, чтобы норвежский принц  
разобрался в этой странной притче,  
датского велел убрать он принца  
и всех прочих действующих лиц.

Но в чулочках штопанных своих,  
действие назад ещё убитый,  
выброшенный из души, забытый,  
вылетает Розенкранц, как вихрь.

Он стоит в заплатанном камзоле,  
и ломает руки сторяча,  
и кричит, кричит, кричит — вне роли.  
Он взывает: «Граждане, врача!»

<sup>168</sup> Там же, с. 22.

<sup>169</sup> Там же, с. 28.

чик Маяковского. Первым в моей жизни настоящим писателем был О. М. Брик.

Однако всё это требует пояснений.

Нашему литературному отрочеству — в Харькове тридцатых годов, — моему, отрочеству Кульчицкого и нескольких людей, забытых более основательно, чем Кульчицкий, полагались свои богатырские сказания, свой эпос. Этим эпосом была история российского футуризма, его старшие и младшие богатыри, его киевский и новгородский циклы.

Не то чтобы мы не интересовались другими поэтами. Интересовались. Впервые в жизни глаза заболели у меня после целодневного переписывания Есенина с полученной на одни сутки книги. И многое другое переписывалось, зналось наизусть, обговаривалось — тогда это слово ещё не начало путешествия из украинского в русский язык<sup>170</sup>.

Однако всё остальное было географией зарубежных стран, а футуристы — родиной, отечеством. Родную страну мы изучали основательно.

Сначала стихи Маяковского; потом его остроты — по Кассилю; потом рассказы о нём — по Катаняну; потом мемуарные книги Шкловского и устные сказания.

По городу, прямо на наших глазах, бродил в костюме, сшитом из красного сукна, Дмитрий Петровский. На нашей Сабурке в харьковском доме умалишённых сидел Хлебников<sup>171</sup>. В Харькове не так давно<sup>172</sup> жили сёстры Синяковы. В Харькове же выступал Маяковский. Рассказывали, что украинский лирик Сосюра, обязавшийся перед начальством выступить против Маяковского на диспуте, сказал с эстрады:

— Нэ можу.

<sup>170</sup> Т. е. украинское «обговорюватися» — «обсуждаться». Сейчас оно как-то и на русском в порядке вещей, а Слуцкий, видите, знает и помнит откуда.

<sup>171</sup> И кроме него, Гаршин, тот же Сосюра, Лимонов. И Слуцкий, после смерти жены, во время депрессии, — лечился, лежал в Кащенко.

<sup>172</sup> И так рядом! В тех же местах, менее километра от дома Слуцкого — на Никитинском переулке, 22 и 22-а — была их городская усадьба с садом (это сквер «Строитель», что сейчас называется Детский парк). Знал Слуцкий? Надо полагать — про Сабурку же и Хлебникова знал.

Была — до последнего времени, в 2012-м «город», в смысле кернесовский горсовет продал её частной компании, и летом 2018-го один из синяковских домов, 22-а, снесли.

Камни бросали в столичные воды. Но круги доходили до Харькова. Мы это понимали. Нам это нравилось»<sup>173</sup>.

С однотомником Хлебникова (и однотомником Блока) «...» в твёрдом издательском переплёте» Слуцкий пошёл на фронт: «Хотел прочитать его “как следует”. На войне не успел, а после войны — успел. Эти два толстых и твёрдых, как железо, переплёта почти обесценили мой вещмешок (куда вскоре перекечевали вещи) как подушку. Проще оказалось подкладывать под голову полено. <...> Вещмешок достался через несколько дней противнику»<sup>174</sup>.

Хлебникова, жившего в Харькове в 1919–20-м, Слуцкий, разумеется, не застал (он участвовал в перепохоронах Хлебникова в 1960-м<sup>175</sup>), и разъехавшихся сестёр Синяковых, вообще в детстве-отрочестве ему ни с кем не повезло встретиться из тех, кто помнил Хлебникова в Харькове, рассказал бы о нём. Но вот же ж бывают странные несближенья, до обидного рядом, буквально в двух шагах (в восьмистах, если точно; полукилометре) от Слуцкого — на Московском проспекте, 74<sup>176</sup> (кв. 3), где бывал и Хлебников — как раз в то время, как Слуцкий рос на Хлебникове, жил ближайший друг Хлебникова по Харькову Григорий Петников, уехавший отсюда в 1925-м после развода с Верой Синяковой и вернувшийся сюда из Ленинграда в 1931-м. Но жил так тихо<sup>177</sup>, максимально неприметно, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания («Знавший Петникова харьк. лит. критик Г. М. Гельфанд-Бейн в разговоре со мной вспоминал: “Жил он очень бедно, подвергался преследованиям и травле в прессе <...>”»<sup>178</sup>), что Слуцкий так и не узнал об этом. А в 1938-м в разгар репрессий Петников

<sup>173</sup> «Знакомство с Осипом Максимовичем Бриком». — В кн.: *Слуцкий Б. О других и о себе*, с. 165–166.

<sup>174</sup> «Вещмешок», там же, с. 176.

<sup>175</sup> «Здесь немногие читатели / всех его немногих книг, / трогательные читатели, / разобравшиеся в них» («Перепохороны Хлебникова» из «Годовой стрелки»).

<sup>176</sup> Это нынешняя нумерация, во времена Хлебникова — улица Старомосковская, 54, в 1925-м она стала Броненосца «Потёмкина», в 1931-м объединена с Московской (уже 1-го мая) и Корсиковской в проспект Сталина, с 1961-го — Московский.

<sup>177</sup> По сравнению с тем, как до этого в Харькове, ещё в пятом классе гимназистом организовавший рукописный журнал, затем, футуристом, издательство «Лирень» (1914–1922), в 1919-м возглавивший Всеукраинский литературный комитет Наркомпроса и издававший журнал «Пути творчества» при нём.

<sup>178</sup> *Яськов В. Хлебников. Косарев. Харьков.* — «Волга», 1999, № 11.

покинул Харьков навсегда, скрылся в Малоярославце Калужской области, где двадцать лет, до 1958-го, потихоньку занимался переводами украинских (и белорусских, и прочих тоже, но в основном украинских) сказок<sup>179</sup>, и «...» неожиданно “разбогател”, пересказав бр. Grimm. Книга начала переиздаваться в различных местных издательствах, и у П. появились деньги. Тогда он купил дом в Старом Крыму и переехал туда. Там и похоронен<sup>180</sup>. Уже в Старом Крыму Слуцкий и познакомится с ним, после чего появится посвящённая «Гр. Петникову» (Григорию, конечно, но по сути — гражданину) баллада «Председатель земного шара...»<sup>181</sup> (вошла в «Работу»).

Можно предположить (а как на самом деле было, неизвестно), что в 1931-м Петников вернулся из Ленинграда, где он просто работал в издательстве «Academia», в Украину, притянутый Украинским Возрождением, а конкретно своим старым, ещё с гимназии, другом, поэтом, прозаиком Майком Йогансеном<sup>182</sup>, ключевой фигурой Возрождения, организатором литобъединений «Гарт» (1923), затем ВАПЛІТЕ<sup>183</sup> (1925), «Техно-мистецької групи А» (1928), и «Універсальний журнал» при ней, и т. д. и т. п. Во всяком случае в 1930-е, начиная именно с 1931-го (Григорій Петніков. Місто: Оповідання; пер. з рос. Майк Йогансен. — «Вікна», 1931, № 3, с. 24), Петникова Йогансен переводит (и не только он: Тычина, Сосюра, Свидзинский, Савва Головановский и др.) и публикует очень много<sup>184</sup>, в 1934-м выходит его книга

<sup>179</sup> Не только сказки. Шевченко, Марко Вовчок, Иван Франко.

<sup>180</sup> Яськов В. Хлебников. Косарев. Харьков.

<sup>181</sup> «...» всех его морей и держав / попросил картуз подержать. // «...» Был он бодрим, а стал — небодрым. / Был он гордым, а стал он — добрым. / И — не править ему (наверное, во всех смыслах — А. К.), не карать, / только тихий архив разбирать. «...» // Постояли. Он попрощался. / Даже поцеловался со мной. / А над нами тихо вращался / не возглавленный им / шар земной». Слуцкому на время достался картуз, а титул «председателя земного шара» отошёл (тогда же почти, в 1963-м, от Петникова) другому харьковскому поэту, с середины 1930-х киевлянину, — Леониду Вышеславскому (1914–2002).

<sup>182</sup> «У старших классах зі своїм товаришем по гімназії Григорієм Петниковим стає близьким до кола Миколи Асеева, Велемира Хлебнікова, Володимира Маяковського» (*Мельників Р. В. Літературні 1920-ті. Постаті (Нариси, образки, етюди). Х., «Майдан», 2013, с. 25).*

<sup>183</sup> Которое «Геть від Москви!».

<sup>184</sup> Григорій Петніков. Партизанська-уральська; «Говорить громенко до бурхайла-діда...»: [Вірші]; пер. з рос. Майк Йогансен. — «Червоний шлях», 1933, № 6, с. 61.

«Вибрані поезії» (переклад з російської: Майк Йогансен, Володимир Свідзинський та інші. Харків, «ЛіМ», 147 с.)<sup>185</sup>. Но и почему Петников сбегает из Харькова, тоже понятно: в тридцатые — уже Голодомор и репрессии, Возрождению конец, в тридцать третьем кончает с собой Хвylieвой, тоже переведивший его (под псевдонимом С. Кароль, в харьковском журнале «Червоний шлях»), в том же году сажают ещё одного его переводчика Василия Бобинского, а в 1937-м расстреливают и Йогансена (Свідзинского арестуют и сожгут в амбаре при этапировании в 1941-м). Если б Петников не скрылся<sup>186</sup>, его бы, как друга Йогансена, тоже; возможно, и ордер уже был, или он видел, как тучи сгущаются.

Точно так же через десять лет Слуцкому тоже придётся бежать из Харькова, но это не будет связано с Украинским Возрождением, уже Расстрелянным, а со следующим витком репрессий — «безродными космополитами». Об интересе же Слуцкого-школьника к Возрождению можно найти у мемуаристов: «Как я понял, в детстве и в ранней юности, до войны, он очень даже любил театр. Упомянул о Курбасе — я тогда имени этого не слыхивал»<sup>187</sup>, «В другом письме Зюня<sup>188</sup> вспоминает, как сопровождал Бориса к месту снесённого памятника Василю Елану (Блакитному), известному украинскому поэту»<sup>189</sup>. В харьковских стихах Слуцкого конкретно этих

Григорій Петніков. Лижна. Поезія; пер. з рос. Майк Йогансен. — «Червоний шлях», 1935, № 2, с. 68–69. Григорій Петніков. Революція; пер. з рос. Майк Йогансен. — «Літературний журнал», 1936, кн. 1, с. 50. Григорій Петніков. Донбас у ночі. Поезія; пер. з рос. — «Літературний журнал», 1937, кн. 7, с. 48.

<sup>185</sup> А первая его украинская, маленькая, семнадцатистраничная, — ещё в 1920-м: Григорій Петніков. Поезії; переклад з російської: О. Жихаренко [О. І. Жихарьов], В. І. Алешко, М. В. Доленго, Д. Ю. Загул. Харків, «Цех каменярів»; Друкарня Синів М. Зільберберг.

<sup>186</sup> О том, что он, «председатель земного шара», был незащищён, или защищён хуже остальных, говорит и то, что в Союз писателей СССР он был принят аж в 1955-м, когда там все уже давно были.

<sup>187</sup> Рудницький К. Друг, с которым мы недоспорили. — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 490.

В 1933-м Курбас был за «национализм и контрреволюционность» арестован, его театр «Березиль» закрыт. Курбаса расстреляли в 1937-м в Сандармохе, Карелия.

<sup>188</sup> Школьный товарищ. Эпизод относится к лету 1938-го, когда Слуцкий приехал домой из Москвы после первого курса на каникулы.

<sup>189</sup> Горелик П., Елисеев Н. «По теченью и против теченья...», с. 49.

А это уже чётко жест, потому что поэт Элан-Блакитный, основатель и редактор газеты «Вісті ВУЦВК», журналов «Всесвіт», «Червоний перець», организатор и руко-

имён нет, но мы же помним «Озеленению и украинизации / мы подчинялись как мобилизации». Есть — о «процессах», репрессиях в целом: ««...» процессы в газетах читал, / во всём разобраться пытался, / пророком себя не считал» («Тридцатые годы»), «Мы были опытным полем. Мы росли, как могли. / Старались. Не подводили Мичуриных социальных. / А те, кто не собирались высываться из земли, / те шли по линии органов, особых и специальных» («Советская старина», начало 1970-х), «Вожди из детства моего! / О каждом песню мы учили, / пока их не разоблачили, / велел не помнить ничего. / Забыть мотив, забыть слова, / чтоб не болела голова» («Трибуна»<sup>190</sup>) — и выразительное «никогда» в «Верил?» (из стихов 1952–1956-го, т. е. до реабилитации): «Не воздали кесарю кесарево / И не пали пред кесарем ниц. / Вот они на заводах и стройках / Зажигают большие огни. / Вот они в сообщительных строках, / Что враги народа они. // <...> Мой ответ на вопрос: “Верил?” / — Верил им. Про них — никогда».

И ни про кого? Среди близких знакомых Слуцкого был точно один человек, который знал, каково на ББК, Беломорканале, и Соловках в концлагере, но в отличие от сидевших там и расстрелян-

водитель «Гарта», и т. д., умерший в 1925-м, в середине 1930-х был объявлен «буржуазным националистом» и, мало того, посмертно приговорён к высшей мере наказания, его произведения запрещены, могила уничтожена. Памятник, о котором речь, в 1931-м поставленный на улице Чернышевской на площади «Пяти лучей» у дома, где он жил, и сама площадь стала называться имени Блакитного, в 1934-м демонтирован (по харьковской легенде, памятник снёс ночью энкавэдэшный грузовик, и его забрали «на ремонт», но обратно уже не вернули, наоборот, место, где стоял, быстренько замостили). По-видимому, для харьковской молодёжи, особенно поэтической, бывшая площадь Блакитного была в то время «точкой сборки» для своих, не то чтобы фрондирующих, но всё же. Тем более Горелик и Елисеев эту «зюнину» фразу приводят в контексте другой его «Человек пять, среди них Гриша (Левин) и Борис. Затягли разговор о величии Сталина, а Борис и бахнул: “Если Сталин проявит себя, как Бонапарт, он заслуживает смертной казни”», а дальше о площади Блакитного говорится «Здесь же Борису читал стихи из своей ученической тетрадки молодой Галич» (не тот).

<sup>190</sup> Где о Скрипнике (Слуцкий его транскрибирует для русского читателя), главным партийном украинизаторе, выступавшем против изъятия зерна у крестьян («хлебозаготовок») и после гибели в 1933-м объявленным (как Блакитный) главой «нового националистического уклона в рядах партии», сказано: «А рядышком: седоволос, / высок и с виду — всех умнее / Мыкола Скрыпник, наркомпрос. / Самоубьётся он позднее» (и далее «Позднее: годом ли, двумя, / как лес в сезон лесоповала, / наручниками загремя, / с трибуны загремят в подвалы»). Поставленный в 1968-м в Харькове памятник Скрипнику прошёл декоммунизацию, в смысле стоит на месте, в отличие от Ленина; осталась и улица Скрипника, есть и улица Блакитного.

ных в 1937-м в Сандармохе Курбаса, Мыколы Кулиша, Валерьяна Пидмогильного, Валерьяна Полищука, Клим Полищука, Олексы Слисаренко, Юлиана Шпола, Григория Эпика и многих других писателей из харьковского Возрождения, освобождённый — отец Михаила Кульчицкого Валентин Михайлович, офицер Русско-японской и Первой мировой, и тоже поэт, в 1933-м репрессированный, в 1937-м вернувшийся в Харьков. Слуцкий пишет о нём в очерке «Мой друг Миша Кульчицкий»: «Семья Кульчицких сохранила всё Мишино до строчки, потому что сохраняла. А сохраняла потому, что была — семья. Их было тогда, перед войной, пятеро: папа, мама, бабушка, Миша и Олеся. Самый интересный был папа. Я его хорошо помню. Он был мрачный, угрюмый, печальный, суровый, важный, гордый. Ещё двадцать эпитетов того же ряда тоже оказались бы подходящими. Сейчас я впервые в жизни подумал, что он был очень похож на сына, на Мишу: то же широкое, полноватое лицо, та же бродячая усмешка. Только она бродила помедленнее. Отец Миши был одет в старую, вытертую тужурку. Он всегда молчал. Я не помню ни одного разговора с ним. Было бы удивительно, если б он заговорил. Я бы обязательно запомнил<sup>191</sup>. Зато Миша об отце говорил часто. <...> В справоч-

<sup>191</sup> Сестре Кульчицкого запомнилось иначе: «Борис Слуцкий... Помню его шестнадцатилетним, ещё до войны. Он часто приходил к нам, к брату. Держался спокойно, с достоинством. Другие ребята запросто, иногда шумно, проходили прямо в комнату к Мише. Борис же задерживался, обязательно здоровался с домашними. Наш отец, Валентин Михайлович, если бывал дома, любил беседовать с Борисом — не столько беседовал, сколько задавал ему вопросы, а потом заинтересованно выслушивал всё, что тот отвечал. Миша, посмеиваясь, приобняв Бориса за плечи, старался поскорее увести друга к себе. Ребяток у Миши бывало много, но приходу Бориса он особенно радовался. В семье хорошо относились к их дружбе» (*Кульчицкая О.* Он был другом моего брата. — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 70). Но даже если кому-то что-то не то запомнилось, неважно — о Соловках мог рассказывать Слуцкому Кульчицкий не отец, а сын, он ездил туда со всей семьёй: «Валентин Михайлович отбывал ссылку сначала на Беломорско-Балтийском канале. Потом долго не было от него вестей, и, наконец, получили письмо, где он сообщал, что находится на станции Сегежа и ждёт отправки на один из многочисленных карельских островков. Хлопоты Дарьи Андреевны (матери — А. К.) увенчались успехом, и было разрешено нам свидание с отцом. <...> Ещё запомнились серые бревенчатые домики, так непохожие на привычные белые украинские мазанки. <...> Люди тосковали за родными хатами, за крестьянской работой, по привычной пище. <...> К Мише очень хорошо относились все, подзывали и подолгу разговаривали с ним» (*Кульчицкая О.* Брат. — В кн.: Кульчицкий М. Вместо счастья: Стихотворения. Поэмы. Воспоминания о поэте. Х., «Прапор», 1991, с. 115–116).



нике Тарасенкова помечены два сборника стихотворений отца. Но мне помнится, Миша показывал целую пачку книжиц. Среди них были и стихи, и проза <...>. Вокруг печального лика отца — офицера старой армии, а на моей памяти — адвоката или, может быть, юрисконсульта, выславшегося куда-то в Карелию <...><sup>192</sup>, — вокруг этого сумрачного лика в моей памяти клубятся легенды, творившиеся Мишиной любовью и фантазией...»<sup>193</sup> А в стихах — в балладе «Кульчицкие — отец и сын»:

В те годы было  
слишком много праздников,  
и всех проказников и безобразников  
сажали на неделю под арест,  
чтоб не мешали Октябрю и Маю.  
Я соболезную, но понимаю:  
они несли не слишком тяжкий крест.

Офицерё, хулиганё,  
империи осколки и рваньё,  
все социально чуждые и часть  
(далёкая) социально близких  
без разговоров отправлялась в часть.

Кульчицкий-сын  
по праздникам шагал  
в колоннах пионеров. Присягал  
на верность существующему строю.  
Отец Кульчицкого — наоборот: сидел  
в тюрьге, и угрюмел, и седел, —  
супец — на первое, похлёбка — на второе.

В четвёртый мая день (примерно) и  
девятый — ноября  
в кругу семьи  
Кульчицкие обычно собирались.  
Какой шёл между ними разговор?  
Тогда не знал, не знаю до сих пор,  
о чём в семье Кульчицких  
препирались.

<sup>192</sup> В данном случае пропуск не мой — Слуцкого или составителя, Петра Горелика.

<sup>193</sup> Слуцкий Б. О других и о себе, с. 228–229.

Отец Кульчицкого был грустен, сед,  
в какой-то ветхий казакин одет.  
Кавалериста, ротмистра, гвардейца,  
защитника дуэлей, шпор певца  
не мог я разглядеть в чертах отца,  
как ни пытался вдуматься,  
вглядеться.

Кульчицкий Михаил был крепко сбит,  
и странная среда, угрюмый быт  
не вытравила в нём, как ни травила,  
азарт, комсомолятину его,  
по сути не задела ничего,  
ни капельки не охладила пыла.

Наверно, яма велика войны!  
Ведь уместились в ней отцы, сыны,  
осталось также место внукам, дедам.  
Способствуя отечества победам,  
отец в гестапо и на фронте — сын  
погибли<sup>194</sup>. Больше не было мужчин

в семье Кульчицких... Видно, велика  
Россия, потому что на века  
раскинулась.  
И кто её охватит?  
Да, каждому,  
покуда он живой,  
хватает русских звёзд над головой,  
и места  
мёртвому  
в земле российской хватит.

«Комсомолятина», конечно, звучит конкретно резко, но и последняя строфа как бы выбивается из темы, потому что если не воспринимать её пафосно (что для Слуцкого, согласитесь, неестественно)

<sup>194</sup> Отец в декабре 1942-го, в оккупированном Харькове, арестован и забит до смерти; сын погиб в январе 1943-го в Луганской области, при наступлении от Сталинграда в сторону Харькова.

но), то горько-саркастична — как в балладе «М. В. Кульчицкий»<sup>195</sup>: «Одни верны России / потому-то, / Другие же верны ей / оттого-то, / А он — не думал, как и почему. / Она — его подённая работа. / Она — его хорошая минута. / Она была отечеством ему. // Его кормили. / Но кормили — плохо. / Его хвалили. / Но хвалили — тихо. / Ему давали славу. / Но — едва. <...> // Есть кони для войны / и для парада. / В литературе / тоже есть породы. / Поэтому я думаю: / не надо / Об этой смерти слишком горевать. // Я не жалею, что его убили. / Жалею, что его убили рано. / Не в третьей мировой, / а во второй. / Рождённый пасть / на скалы океана, / он занесён континентальной пылью / И хмуро спит / в своей глуши степной». И тут, и в прошлой балладе, реально не всё как надо складывается с горькой любовью к России — вероятно, из-за того, что на неё у Кульчицкого наложилась сильная неприязнь к украинизации, к которой он не относился «как демобилизации», в отличие от Слуцкого, — напротив: «А люди / с таинственной выправкой / скрытой / тыкали в парту меня, / как в корыто. / А люди с художественной вышивкой — / Россию / (инстинктивно зшиток<sup>196</sup> подъяв, как меч) — / отвергали над партией. / Чтобы нас перевлечь — / в украинские школы — / ботинки возили, / на русский вопрос — / “не розумію”, / на собраниях прерывали / русскую речь. / Но я всё равно любил Россию. / <...> И нас ни чарки / не заморочили, / ни поштовые марки / с “шаг”ающими<sup>197</sup> гайдамаками, / ни вирши — / что жовтый воск / со свечи заплаканной / упадает / на Ї / блакитные очи. / Тогда закрывали русские школы / классной диктовкой / анкет: / За Україну ли? / Тогда ещё многие / грозные головы / мы / из ореховых рам не повынули<sup>198</sup>. / Тогда ещё спорили — / Русь или / Запад — / в харьковском / скрыпниковском кремле. / А я не играл роли в дебатах, / а играл / в орлянку / на спорной земле. / А если б меня / и тогда спросили — / я продолжал — всё равно Россию»<sup>199</sup>. Конечно, всё на-

<sup>195</sup> Полностью, с последней строфой — в посмертной книге «Стихотворения» 1989-го (Болдырев Ю. Примечания. — В кн.: Слуцкий Б. Т. 1, с. 516).

<sup>196</sup> «Тетрадь», комментирует автор. Далее тоже, но мы не будем, и так понятно, — кроме одного раза, в следующем примечании.

<sup>197</sup> «Шаг — денежная единица Центральной Рады = 1/2 коп».

<sup>198</sup> Это о том же, о чём и Слуцкий в «Трибуне», тем более и Скрыпник ниже возникает, — но с противоположным отношением.

<sup>199</sup> Самое такое (Поэма о России). — В кн.: *Кульчицкий М.* Вместо счастья: Стихотворения. Поэмы. Воспоминания о поэте, с. 90-92.

много сложнее, чем кажется поначалу из этого отрывка, — для Кульчицкого, дальше в поэме: «И пусть тогда<sup>200</sup> / на язык людей — / всепонятный — / как слава, / всепонятый снова, / попадёт / моё, / русское до костей, / моё, / советское до корней, / моё украинское тихое слово. / И пусть войдут / и в семью и в плакат / слова, / как зшиток / (коль сшита кипа), / как травень в травах, / як липень / в липах / та й ще як блакитные облака! / О как / я девушек русских проохаю / говорить любимым / губы в губы / задыхающееся “кохаю” / и понятнейшее слово — / “любый”».

Всё сложнее было и для Слуцкого — с Кульчицким; вероятно, он уже разобрался в нём позже, в коротком, четыре неполных странички, предисловии к первой книге Кульчицкого<sup>201</sup>, представляющем его читателю, Слуцкий несколько раз заостряет, может, и для себя: «Написал десятки тысяч строк по-русски и по-украински. Оба языка знал одинаково хорошо», «Русскую, украинскую, многое в европейской поэзии знал, как знал Померки — каждое дерево, каждый кустик», «Гордый и свободный, ненавидящий любое угнетение, поэт не мог примириться с тем, что любимую им Украину, родную Грековскую улицу<sup>202</sup> топчут фашисты», — и из десятков тысяч строк в качестве примера (того,

<sup>200</sup> Когда взойдёт «...» колос / высокого коммунизма». Вот и ответ.

<sup>201</sup> *Слуцкий Б.* Прямая от стиха до пули... — В кн.: Кульчицкий М. Самое такое. Х., «Прапор», 1966, с. 5–8.

<sup>202</sup> На Грековской, 9 в 1989-м появилась мемориальная доска с барельефом и цитатой «Самое страшное в мире — это быть успокоенным», в 1999-м её украли на цветной металл, милиция нашла, но её снова украли, окончательно. В 2004-м появилась другая табличка с барельефом, указанием, что «У цьому будинку народився і провів дитячі роки поет Михайло Валентинович Кульчицький (1919–1943)» и цитатой «Я люблю / родной свой / город Харьков / Крепкий, / как пожатие / руки», её украли в 2016-м. Висит табличка на школе — 30-й, — что он окончил, и на её сайте: «...» працював викладач української мови та літератури, талановитий письменник Юрій Шовкопляс та навчалися такі відомі майбутні письменники як Ігор Муратов, М. Кульчицький, Ізраїль Меттер, В. Кондратенко та Сергій Борзенко, ім'я якого зараз носить школа. «...» не повернулася з війни і більшість випускників школи, серед яких молодий і талановитий поет М. Кульчицький» (<http://www.school30.edu.kh.ua/storya/>). На сайте 1-й гимназии, где он тоже учился: «У різні роки випускниками гімназії були люди, імена яких відомі на всю країну. Це герой Радянського Союзу Євгеній Гуданов, письменники Лідія Некрасова, Юрій Корецький, Сергій Смирнов, поет Михайло Кульчицький» (<http://gimnasium1.klasna.com/uk/site/our-school.html>). Одна из улиц Харькова с 2013 года — Кульчицкого. Так, просто: русская «Википедия» пишет о нём «русский советский поэт», украинская — «український поет»; нормально.

что «...» повторяла вся литературная Москва «...») процитировал именно эти: «Помнишь — с детства — / рисунок: / чугунные пути / человек сшибает / с земшара / грудью! — / Только советская нация / будет / и только советской расы люди...» Вот и ответ Слуцкого насчёт антиукраинизационности Кульчицкого.

В первом абзаце предисловия — «Сколько тысяч километров, проговорили, пробродили, проспорили мы между Грековской и Конной площадью». «Проспорили» тут — «самое такое», и вообще не стоит воспринимать Слуцкого / Кульчицкого как Лёлека-Болека<sup>203</sup>, «Голос друга (Памяти поэта Михаила Кульчицкого)»<sup>204</sup> начинается с «Давайте после драки / Помашем кулаками: / Не только пиво-раки / Мы ели и лакали «...»», и под «дракой» не война имеется в виду, а драка: «Потом (до мартовского, в 1942 году, дня, когда я видел Мишу в последний раз) было шесть или семь лет отношений. Правильнее всего назвать их дружескими. Мы ссорились или

<sup>203</sup> «Я помню твой жестоковыйный норв / и среди многих разговоров / одни. По Харькову мы шли вдвоём. / Молчали. Каждый о своём. / Ты думал и придумал. И с усмешкой / сказал мне: — Погоди, помешкай, / поэт с такой фамилией, на “цкий”, / как у тебя, немыслим. — Словно кий / держа в руке, загнал навеки в лузу / меня. Я верил гению и вкусу. / Да, Пушкин был на “ин”, а Блок — на “ок”. / На “цкий” я вспомнить никого не мог. // Нет, смог! Я рот раскрыл. — Молчи, “цкий”. / — Нет, не смолчу. Фамилия Кульчицкий, / как и моя, кончается на “цкий”! / Я первый раз на друга поднял кий. / Я поднял руку на вождя, на бога, / учителя, который мне так много / дал, объяснял, помогал / и очень редко мною помыкал. // Вождь был как вождь. Бог был такой как нужно. / Он в плечи голову втянул натужно. / Ту голову ударил бумеранг. / Оборонясь, не пощадил я ран. / — Тебе куда? Сюда? А мне — туда. // Я шёл один и думал, что беда / пришла. Но не искал лекарства / от гнева божьего. Республиканства, / свободолюбия сладчайший грех / мне показался слаще качеств всех» (рубеж 1960–1970-х). О Кульчицком у Слуцкого много: кроме процитированных и что процитирую сейчас, ещё «Декабрь 41-го года» (во «Времени»), «Высоко он голову носил...» («Сегодня и вчера»), «Просьбы» («Современные истории»), «Кульчицкий» (Сроки), «А я эстетов не застал...»

<sup>204</sup> Из «Памяти». Об этой разладе Слуцкий пишет: «С этим стихотворением никаких историй не происходило, разговоры о нём, скорее, впрочем, доброжелательные, были очень негромкими, и тем не менее вряд ли мне удалось когда-нибудь написать что-нибудь лучшее. В собственных стихах мне нравится не средний или среднехороший уровень, а немногочисленные над ним взлёты, не их реалистически-натуралистическое правило, а реалистически-символические исключения. Прыгнуть выше самого себя удаётся редко. В этом случае я, наверное, прыгнул. Есть ещё такой признак: волнение, которое я испытываю, читая это стихотворение вслух. Видимо, есть причины для этого волнения. Только очень немногое вызывает у меня примерно то же чувство. Что именно? Конечно, “Старуха в окне”, в своё время “Госпиталь”, “Хозяин”. (Остаток страницы не дописываю. Может быть, вспомню ещё что-нибудь.)» («К истории моих стихотворений». — В кн.: *Слуцкий Б. О других и о себе*, с. 193).

мирились так часто, что однажды решили драться раз в году — летом, в городском парке — без причин, лишь бы амортизировать скопившуюся за год взаимную злость»<sup>205</sup>. Отголоски этих споров, драк у Слуцкого могут быть и там, где не ждёшь: у Кульчицкого в записной книжке за 1939 год — «Мне дали: / русские — сердце / немцы — ум / грузины — огонь / украинцы — душу / поляки — хитрость / козаки — силу»<sup>206</sup>; у Слуцкого, чья родословная гомогенна, а язык базара гуще, от сердца, мы помним, идиш, русский — это ум, а украинский физиологичен; такими понятиями, как «огонь» и «сила», Слуцкий не оперирует. У Кульчицкого в итоге всё это собирается в «советский», у Слуцкого «советский» не покрывает еврейства и украинского еврейства.

Доспаривал Слуцкий с Кульчицким, конечно, уже в пятидесятыше-шестидесятые и далее, после Холокоста и «борьбы с космополитами», сквозь которые для него и Голодомор и деукраинизация стали чётче и понятней, но и в тридцатые ж было видно: дерусификация в Украине двадцатых не деукраинизация тридцатых — бескровное и кровавое, на русский в двадцатые говорили «не розумию», но не репрессировали. Можно поспекулировать: кто из них был большим винтиком, а кто бунтарём тогда, подчинившийся украинизации и не отказавшийся от неё после Голодомора

<sup>205</sup> «Мой друг Миша Кульчицкий». — В кн.: *Слуцкий Б.* О других и о себе, с. 228.

До этого — история знакомства: «...» в тот вечер (скорее всего зимний или осенний) 1936, а может быть, 1935 года в просторной, кажется, горнице дома, где некогда помещалось, кажется, Дворянское собрание, а потом ВУЦИК, а в тот вечер — харьковский Дворец пионеров, я увидел мальчика, о котором ничего не знал — никогда его прежде не слышал и не видел. Среди прочих мальчиков — их было, наверное, более дюжины и ещё несколько девочек — он выделялся статью, плотью, обильной, крупной, но спортивно не организованной, большими, но покатыми плечами, лицом — большим, с крупными чертами — и костюмом. У всех нас были тогда перешитые — из отцовских — костюмы, но у Миши исходный материал был особенный, не такой, как у всех. Увидь я его сегодняшними глазами — сказал бы: барчук. Тогдашними шестнадцатилетними глазами я этого не увидел, но мальчик показался мне странным и привлекательным. «...» Миша ничего не читал, но по его широкому лицу странствовала неопределённая усмешка. Как выяснилось, такая же усмешка странствовала и по моему лицу — тогда узкому. Нам обоим не нравились стихи литкружка. На этом мы познакомились, на том, что стихи наших сверстников нам не нравились» (там же, с. 227).

<sup>206</sup> В примечании составителей к «Дословной родословной» (вступлению к поэме «Самое такое»), где кое-что об этом, предках грузинах и немцах, говорится (*Кульчицкий М.* Вместо счастья: Стихотворения. Поэмы. Воспоминания о поэте, с. 260–261).

и расстрелов или нонконформист, совпавший с конформизмом, — а то и подойти с точки зрения гуманности. Но лучше проще: то, что Слуцкий был евреем в антиеврейскую уже, уже давно, эпоху, сформировало в нём, и как поэте, взгляд, наверное, правильной назвать это чувством — гекатомбности, куда не только евреи попадают. А евреи — уже в его самых ранних, конца 30-х, балладах, «Конец (Абрам Шапиро)» и «Рассказ старого еврея (рассказ оттуда)», где «В берлинских подворотнях там и тут / Они бросают глупые вопросы: / — За что? За что бьют? // Как быть с евреем — это не вопрос. / Как бить еврея — это да, вопрос. / Есть мнение, что метод избияния / Хоть благороден, но излишне прост. // Они травой подножною растут: / Не укрощать, а прекращать сей люд»<sup>207</sup>, и в «Записках о войне», где всё по странам («Румыния», «Болгария» и т. д.) или категориям («Белогвардейцы», «Девушки Европы» и т. д.), самая большая глава, категория, — «Евреи».

Попасть в гекатомбу Слуцкий мог и до и во время войны, но чуть не попал в 1948-м в Харькове, когда началась «борьба с космополитами». Он спокойно об этом пишет: «Эти годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчлённной массой. Точнее, двумя комками: 1946–1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948–1953, когда я постепенно оживал. Сначала я был инвалидом Отечественной войны. Потом был непечатающимся поэтом. Очень разные положения. Рубеж: осень 1948 года, когда путём полного напряжения я за месяц сочинил четыре стихотворные строки, рифмованные. Где они теперь? (...) Стихи меня и столкнули с дивана, вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы, из положения, в котором есть свои удобства. Как инвалид Отечественной войны второй группы я получал 810 рублей в месяц и две карточки. В Харькове можно было бы прожить, в Москве — нет. Но у меня с войны ещё оставались деньги. Я старался не жить в Харькове. В Харькове был диван, на котором я лежал круглые сутки, читал, скажем, Тургенева. Прочитав страниц 60 хорошо известного мне романа, скажем “Дым”, я понимал, что забыл начало. Так болела голова<sup>208</sup>. (...) Вообще Харьков был диван со своими удобства-

<sup>207</sup> Впервые — в журнале «22» в 1993 году.

<sup>208</sup> О том же самом в стихах: «У меня болела голова, / что и продолжалось года два, / но без перерывов, передышек, / ставши главной формой бытия. / О причи-

ми. Там я мог залежаться окончательно. Жил бы дома, питался бы, как тогда говорили, с родителями, ходил бы на книжные развалы, прирабатывал бы в областных газетах и, скорей всего, в 1949 году разделил бы судьбу своих преуспевавших товарищей, тогда космополитизированных»<sup>209</sup>. Это — в контексте сказанного до того: «— С кем ты сейчас дружишь? — спросил меня Зейда в 1948 году. — Да есть интересные люди. — Ты учти, интересными людьми многие инстанции интересуются» и «Тучи несколько раз сгущались прямо над головой. И гром гремел. И молния была. Но неточно. По соседству»<sup>210</sup>.

«Интересные люди» и «по соседству» — это о Лье Лившице, харьковском друге ещё с литкружка во Дворце пионеров<sup>211</sup>, затем студенте историко-филологического факультета ХГУ, добровольце-фронтовике, что не спасло (и Слуцкого бы не спасло): в 1949-м Лившица обвинили в космополитизме, выгнали из партии и аспирантуры, в следующем году арестовали и дали десять лет лагерей<sup>212</sup>. П. Горелик и Н. Елисеев употребляют именно слова, это породивших, / долго толковать не стану я. // Вкратце: был я ранен и контужен, / и четыре года — на войне. / Был в болотах навсегда простужен. / На всю жизнь — тогда казалось мне. // Стал я второй группы инвалид. / Голова моя болит, болит. // Я не покидаю свой диван, / а читаю я на нём — роман. // Дочитаю до конца — забуду. / К эпилогу — точно забывал, / кто кого любил и убивал. / И читать с начала снова буду. // Выслуженной на войне / пенсии хватало мне / длить унылое существованье / и надежду слабую питать, / робостное упованье, / что удасть мне с дивана — встать» («Преодоление головной боли»).

<sup>209</sup> «После войны». — В кн.: *Слуцкий Б. О других и о себе*, с. 180–181.

<sup>210</sup> Там же, с. 178.

<sup>211</sup> Правда, С. Лихтарёва говорит о клубе «Пишевик» (может, и туда ходил, но скорее всего, всё-таки ошибка): «В начале 60-х дом Лёвы Лившица стал как бы центром культурной жизни Харькова. (...) К Лёвочке обязательно заходил хоть на пару часов и Борис Слуцкий, ещё регулярно приезжавший повидаться с родными и старыми друзьями. Борис Слуцкий (...) считал Лёву своим старым другом со школьных времён, когда они вместе встречались в детской литературной студии, кажется, при клубе “Пишевик” и, вместе с Мишей Кульчицким, блистали там на общем фоне. Борис любил читать Лёве “в узком кругу” свои тогда крамольные ненапечатанные стихи и очень считался с реакцией на них» (*Лихтарёва С. «Перебирая наши даты...»* — В кн.: *О Лье Лившице. Воспоминания друзей. Сборник. Составитель Б. Л. Мильявский. Х., [б. и.], 1997, с. 47*).

<sup>212</sup> Он был освобождён в 1954-м, умер в 1965-м от сердечной недостаточности в возрасте сорока четырёх лет. «Я плохо помню всё, что происходило в этот кошмарный день. Запомнилось только безумевшее от горя лицо матери (...) и ещё фигура



во «спасло»: «Речь идёт о печально известной “борьбе с космополитами”. Она развернулась в 1948–1952<sup>213</sup> годах, когда Слуцкий жил в Москве, даже был прописан в столице и “за харьковскими органами не числился”. Это его и спасло. У него были основания думать, что от судьбы стать “космополитизированным”, то есть репрессированным в качестве “безродного космополита”, его спас отъезд в Москву. В 1948 году в Харькове одной из жертв оголтелой антисемитской кампании стал его близкий товарищ и единомышленник, о дружбе которого со Слуцким “органы” были хорошо осведомлены. На основании подлой клеветы некоего бдительного доброхота Лев Яковлевич Лившиц — талантливый литературовед, участник войны, раненный на фронте, — был осуждён как “безродный космополит”, арестован и отправлен в лагеря (...)»<sup>214</sup>.

«Тучи сгущались», говорит Слуцкий, и зачем ему б так говорить, если бы реально не было опасности, что за «гром гремел», не установить, но Слуцкий же не из тех, кто преувеличивает, он, наоборот, сдержан. Тем более, помните же тот болдыревский комментарий к «Широко известен в узких кругах...» насчёт «досье» в «компетентных органах» и «дружеских» характеристик 1940-х. Вероятно, Слуцкий вовремя уехал из Харькова — точно так же, как «спасение», объясняют отъезд, по сути — побег, из Харькова примерно тогда же, парой лет раньше, Александра Хазина, автора «Возвращения Онегина»: «В августе далёкого рыдающего над гробом Бориса, повторявшего: “Всю жизнь разлучали, разлучали и разлучили...”» (Лихтарёва С. «Перебирая наши даты...», с. 48).

Вернувшись из лагерей, Лившиц защитил кандидатскую, много печатался как литературный и театральный критик, был крупным культуртрегером Харькова, приглашал и проводил в Центральном лектории вечера Самойлова, Левитанского, Евтушенко и др. — вечер Окуджавы в 1961-м считается «первым на территории СССР официальным вечером авторской песни Булата Окуджавы» («Википедия»: «Булат Окуджава»), о Слуцком («Википедия»: «Борис Слуцкий») говорится то же самое: «Одно из первых публичных выступлений Слуцкого перед большой аудиторией состоялось в Центральном лектории Харькова в 1960 году. Организовал его друг поэта, харьковский литературовед Л. Я. Лившиц». С 1996-го в Харьковском педуниверситете проводятся ежегодные Международные чтения молодых учёных памяти Л. Я. Лившица.

<sup>213</sup> В это время уже сажали, а борьба велась уже с 1945-го, если не с 1944-го, когда ввиду продвижения на Запад и опасности культурного и прочего обмена в печати и везде начал муссироваться термин «космополитизм», пока не нашлись винные — евреи, как всегда.

<sup>214</sup> Горелик П., Елисеев Н. «По течению и против течения...», с. 158–159.

уже 46-го Шура<sup>215</sup>, дежуривший в газете “Красное знамя”, получил по телетайпу длинную речь секретаря ЦК партии Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград”<sup>216</sup>. Среди заклеянных врагов страны Советов были названы здесь трое: Ахматова, Зощенко и “некий” Хазин. Саша Хазин был общим нашим другом, обаятельным, остроумцем, красивым и талантливым человеком. Прочитав доклад, мудрый Шура сказал коротко: “Будут сажать”. И, как всегда, оказался прав. Саше Хазину удалось спастись. Он успел уехать в Ленинград и по реестру харьковского КГБ<sup>217</sup> уже не проходил. А Шура и Лёва (Лившиц — А. К.) загремели. Срок им был определён одинаковый: каждому по десять лет»<sup>218</sup>.

Вернёмся к деукраинизации — думаю, тут для Слуцкого был ещё один очень важный аспект, он же приверженец авангардизма, и это мягко сказано («...» всё остальное было географией зарубежных стран, а футуристы — родиной, отечеством) — вот так, дважды усиленное сакральными словами). А Украинское Возрождение и было авангардным и авангардом — в двадцатые; когда его не стало, закончился авангард, чёрт-те что его сменившее в литературе — могло разве оно быть «родиной, отечеством», и как Слуцкому относиться к нему, и к тому, что «родину» уничтожили. Именно об этом баллада «Харьковский Иов» («Сроки»), несмотря на то, что она о войне (это уже просто варварство), доуничтожившей то, что ещё оставалось после деукраинизации. Ермилов — самый извест-

<sup>215</sup> Александр Светов, публицист, фантаст, писавший с Хазиным эстрадные миниатюры для артистов разговорного жанра. Фронтовик, отсидевший до войны, в 1950-м снова арестованный в ходе «борьбы с космополитами».

<sup>216</sup> Пасынок Александра Введенского, в чей близкий круг общения в Харькове входил Александр Хазин, Борис Викторов пишет: «Наверняка в связи с этим постановлением (Оргбюро ЦК ВКП(б) “О журналах ‘Звезда’ и ‘Ленинград’” от 14 августа 1946-го — А. К.) и докладом (Жданова, через день, на встрече с ленинградскими писателями по поводу постановления — А. К.) в Харьковском Союзе проводились соответствующие собрания, проработки, “единодушные выступления” «...» (Викторов Б. Александр Введенский и мир, или «Плечо надо связывать с четыре». Харьков [б. и.], 2009, с. 45).

<sup>217</sup> Тогда ещё МГБ. Но тут не как название, а как явление.

<sup>218</sup> Хаит Л. Лившиц через «в». — В кн.: О Льве Лившице, с. 92–93. И там же Хаит пишет о Слуцком: «Когда я узнал о Лёвином возвращении из лагеря, со всех ног бросился на улицу Чернышевского, где, кстати, находилась в ближайшем соседстве с Лёвиным домом и внутренняя тюрьма харьковского КГБ. Так случилось, что, с другой стороны улицы, к Лёве тоже мчался Борис Слуцкий» (с. 94–95).

ный харьковский художник-авангардист *десятых-тридцатых*<sup>219</sup>, собственно, фигура мирового авангардизма, и друг Хлебникова, расписавший<sup>220</sup> и издавший в Харькове в 1920-м его «Ладомир».

Ермилов долго писал альфреско.  
Исполненный мастерства и блеска,  
лучшие харьковские стены  
он расписал в двадцатые годы,  
но постепенно сошёл со сцены  
чуть позднее, в тридцатые годы.

Во-первых, украинскую столицу  
перевели из Харькова в Киев —  
и фрески перестали смотреться:  
их забыли, едва покинув.  
Далее. Украинский Пикассо —  
этим прозвищем он гордился —  
в тридцатые годы для показа  
чем дальше, тем больше не годился.

Его не мучили, не карали,  
но безо всякого визгу и треску  
просто завешивали коврами  
и даже замазывали фреску.

Потом пришла война. Большая.  
Город обстреливали и бомбили.  
Взрывы росли, себя возвышая.  
Фрески — все до одной — погибли.

Непосредственно, самолично  
рассмотрел Ермилов отлично,  
как все расписанные стены,

<sup>219</sup> В 1928–1929-м художественный директор журнала «Авангард». И ещё (среди многого-многого другого) он в 1934–1935-м расписал только что переданный детям (после ВУЦИК, когда столица переехала в Киев) первый в Союзе Дворец пионеров, куда в литкружок, мы помним, ходил Слуцкий.

В 2012-м в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина (в подвале) открыт «ЕрмиловЦентр» для выставок художников-авангардистов.

<sup>220</sup> Обложка, титульный лист, шмуцтитул, иллюстрации на отдельных листах, заставки, ручная раскраска акварелью. Тираж 50 экземпляров.

все его фрески до последней  
превратились в руины, в тени,  
в слухи, воспоминанья, сплетни.

Взрывы напоминали деревья.  
Кроны упирались в тучи,  
но осыпались всё скорее —  
были они легки, летучи,  
были они высоки, гремучи,  
расцветали, чтобы поблкнуть.  
Глядя, Ермилов думал: лучше,  
лучше бы мне ослепнуть, оглохнуть.

Но не ослеп тогда Ермилов,  
и не оглох тогда Ермилов.  
Богу, кулачища вскинув,  
он угрожал, украинский Иов.

В первую послевоенную зиму  
он показывал мне корзину<sup>221</sup>,  
где продолжали эскизы блкнуть,  
и позволял руками потрогать,  
и бормотал: лучше бы мне ослепнуть —  
или шептал: мне бы лучше оглохнуть.

Можно сказать больше, Слуцкий так и делает: тридцатые и война — две части того же, единого целого, одной большой трагедии.

«Лошади в океане» («Память») — и самая известная его баллада, и наименее любимая, и контроверсивная, вызывающая неприятие своей... впрочем, лучше он сам: «Это сентиментальное, небрежное стихотворение до сих пор — самое у меня известное. <...> Мне до сих пор понятны только внешние причины успеха — сюжетность, трогательность, присутствие символов и подтекстов. Это никак не объясняет успеха стихотворения у квалифицированного читателя»<sup>222</sup>. Слуцкий и до конца как бы не

<sup>221</sup> Адрес Ермилова — Полтавский шлях (Свердлова), 33, мансарда (чердак).

<sup>222</sup> «К истории моих стихотворений». — В кн.: *Слуцкий Б. О других и о себе*, с. 187–188. Далее будут цитаты тоже с этих двух страниц.

понимает, почему оно получилось таким, где сфальшивил, передёрнул чувства — внутренние, что стали на потребу внешними, сентиментальными. Один аргумент, что толком находит, сразу и опровергает: «Это почти единственное моё стихотворение, написанное без знания предмета. Почти. В открытое море я попал впервые лет 15 спустя. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную речку»<sup>223</sup>. И наконец, словно разводит руки: «“Лошади” — самое отделившееся от меня, вычленившееся, выломавшееся из меня стихотворение».

Но есть, конечно, не может не быть проговорки (иначе б зачем он писал это, похвастаться успехом баллады<sup>224</sup>, поделиться недоумением?), она там вскользь, но привлекает внимание: «Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне (в Париже, в 1965-м), что он эти стихи заприметил: — Но рыжие и гнедые — разные масти». Слуцкий замечание Твардовского оставляет без ответа, поскольку оправдываться («Я вырос на большом базаре в Харькове» — Конном) или объясняться («Я пририсую сейчас в уголке, / как стародавние мастера, / мальчика с мячиком в слабой руке. / Это я сам, объявиться пора. // Видите мальчика рыжего

<sup>223</sup> А так — «Написаны в 1951 (?) году летом (...). вспомнился рассказ Жоры Рублёва об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно-политическом журнале вроде “Нового времени”, откуда обычно черпал вдохновение».

О «ледовитой подмосковной речке» докладно в балладе «Переправа» («Современные истории»): «Не помеченные на карте / и текущие так, зазря, / подмосковные речки в марте / разливаются в полуморя. // Ледяная, убивающая / снеговая вода, / с каждым часом прибывающая, / заливают пойму тогда. // Это всё на неделю, на две, / а потом всё схлынет, уйдёт. / Ну, а две недели / разве / так легко прожить, пережить! // В эти самые две недели / в марте, в 42-м году, / на меня вещешок надели. / Я сказал: “Сейчас пойду”. // Дали мне лошаде́нку: квьёлая, / рыжая. Рыжей меня. / И сказали кличку: “Весёлая”. / И послали в зону огня. // Злой, отчаянный и голодный, / до ушей в ледовитом огне, / подмосковную речку холодную / переплыл я тогда на коне. / Мне рассказывали: простудился / конь / и до сих пор хрипит. / Я же в тот раз постыдился / в медсанбат отнести свой бронхит». Обратите внимание ещё на «рыжая. Рыжей меня», сейчас станет понятно для чего.

<sup>224</sup> «Когда я, познакомившись с Марьей Степановной Волошиной, читал ей и Анчутке о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение. Когда (наверное, в 1952 году) читал стихи Н. С. Тихонову, он сказал, что печатать ничего нельзя, разве “Лошадей”: — Знаете, как у Бунина о раненом олене: “Красоту на рогах уносил?”» и т. д.

там, / где-то у рамки дубовой почти? / Это я сам. Это я сам! / Это я сам в начале пути», а непосредственно в «Памяти» — во «Сне»: «Утро брезжит, / а дождик брызжет. / Я лежу на вокзале / в углу. / Я ещё молодой и рыжий — / Мне легко / на твёрдом полу», вообще рыжего «я» много в текстах) не к месту, потребовало б более длительного, обстоятельного разговора, чем краткая заметка об этой балладе, и сказать «а» — это сказать «б» и «с», и о рыжих, и о сентиментальности, и о скрытых внутренних чувствах. Неотвеченный вопрос провисает, куда-то глубоко, в тексте чувствуется яма, дырка, а ответ Твардовскому, ещё и какой, достаточно чёткий, дан в посвящённой ему заметке: «Первое отчётливое о нём воспоминание — лето 1936, наверное, года. Я иду через весь город в библиотеку, чтобы прочитать в свежей “Красной нови” “Страну Муравию”. Поэма мне не понравилась. Коллективизацию я видел близко. Её волны омывали харьковский Конный базар, на котором мы жили. В поэме не было ни голода, ни ярости, ни ожесточённости ни в той степени, как в жизни, ни в той степени, как в поэмах Павла Васильева или у Шухова и Шолохова»<sup>225</sup>, — где даже метафора та же: лошади — в океане; коллективизация — омывает волнами. И вот без всякой метафоры, но с тем же чувством: «— О том, как в тридцатые годы вымирала украинская деревня, знали даже харьковские пацаны...»<sup>226</sup>

Но ещё минутку. Илья Фаликов пишет: «В названии базара и в самом торжище он, до поры не видевший океана, услышал ржание тех коней, что шли на дно и ржали, ржали»<sup>227</sup>, — да, но нет, в смысле этого мало<sup>228</sup>. Давид Шраер-Петров говорит, что «Лоша-

<sup>225</sup> «Твардовский». — В кн.: *Слуцкий Б.* О других и о себе, с. 215.

<sup>226</sup> *Кардин В.* «Снова нас читает Россия...» — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 151.

<sup>227</sup> И приводит «Я был учеником у Маяковского / Не потому, что кисти растирал, / А потому, что среди ржанья конского / Я человеческим голосом орал» (из ранних, впервые в «Я излагаю историю...» [1990]) — *Фаликов И.* За Изюмским бутром. Из книги «Майор и муза».

<sup>228</sup> Харьков, конечно, конный город. Одно время, с 1878-го по 1887-й, даже был губернский герб, что «(...) изображал на серебряном щите “чёрную оторванную конскую голову с червлёными глазами и языком”, означающую конские заводы губернии; в червлёной главе щита — золотая о шести лучах звезда (Давида), символизирующая университет, между двумя золотыми византийскими монетами, означающими торговлю и богатство» («Википедия»: «Герб Харькова»). Но голова была слишком страшна, и герб не прижился, местное дворянство писало петиции в столицу, пока наконец не вернули старый: жезл Меркурия накрест с рогом изобилия.

ди в океане» — ««...» реквием по убиенным евреям «...»<sup>229</sup>, — так тоже можно, но у Слуцкого шире: безвинные жертвы как таковые, вообще к войне ни при чём, попали под маховик чужой, человеческой, человека с ружьём, истории. Марат Гринберг<sup>230</sup> говорит, что «Лошади в океане» часть Книги Бытия Слуцкого, и потому лирическое «я» в них отсутствует. Повествование ведёт неизвестный наблюдатель, предоставляющий происходящее как данность», что не совсем так, «мне»-то (которому «жаль» есть, и оно активно, но дело в другом, «я» тут плавающее (извините) между людьми и лошадьми — вовлечёнными в войну, теми, которых нельзя же топить за счёт лошадей, и теми, с «добрыми мордами», кем жертвуют. В «Кёльнской яме» из той же «Памяти», балладе, к которой ни у кого, кажется, нет претензий по поводу сентиментальности и что начинается «Нас было семьдесят тысяч пленных / В большом овраге с крутыми краями. / Лежим / безмолвно и дерзновенно. / Мрём с голодухи / в Кёльнской яме<sup>231</sup>», о том же, но гораздо жёстче: «Раз в день / на площадь / выводят лошадь, / Живую / сталкивают с обрыва. // Пока она свергается в яму, / Пока её делим на доли / неравно, / Пока по конине молотим зубами, — / О бургеры Кёльна, / да будет вам срамно!» — лошадь, а потом и себя: «Смотрите, как, мясо с ладони выев, / Кончают жизнь товарищи наши». В «Лошадях в океане» ничего не говорится, что люди в лодках, бросившие лошадей, добрались до земли, подразумевается, что да, но ни слова, лирическое «я» окончательно сфокусировалось на лошадях. Но это не значит, что Слуцкий — только «лошади» (и лошади — только евреи), «Лошади в океане»

<sup>229</sup> Шраер-Петров Д. Москва златоглавая. Литературные воспоминания. Baltimore, MD, 1994, с. 83.

И эту мысль развивает, подключая другие «лошадиные» (но не все) баллады Слуцкого Марат Гринберг в «Лошади Слуцкого: метапоэтическое прочтение библейского поэта». А среди «невсех» как раз те, что выламываются из концепции — как «Выгон» (из «Неоконченных споров»): «Травы — запах земли, / в листья воплощённые и корни. / К ним по случаю весны пошли / вдумчиво приноживаться кони. // Распахнули ноздри, как ворота, / чувят что-то. / Понимают что-то. // С тёмной конской душой / тёмная душа земная / разговор ведёт большой, / но о чём — не знаю». Если бы кони были только евреями — знал бы. Или если бы был крестьянином.

<sup>230</sup> Там же.

<sup>231</sup> И в оккупации — вы помните из «Метр восемьдесят два» — то же самое: «Есть понятие — величие духа, / и ещё понятие — голодуха».

посвящены Эренбургу<sup>232</sup>, переизданную через два года «Память» он надписал ему: «И. Эренбургу — пока мы, лошади, ещё плывём в океане. Б. С.»<sup>233</sup>, а в «Неужели?»<sup>234</sup>: «Я топил лошадей и людей спасал, / ордена получал за то, / а потом на досуге всё описал. / Ну и что, / ну и что, / ну и что!», но в сиквеле «Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей...» («Доброта дня») снова: «Про меня вспоминают и сразу же — / про лошадей, / рыжих, тонущих в океане. / Ничего не осталось — ни строк, ни идей, / только лошади, тонущие в океане. // Я их выдумал летом, в большую жару: / масть, судьбу и безвинное горе. / Но они переплыли и выдумку, и игру / и приплыли в синее море. // Мне поэтому кажется иногда: / я плыву рядом с ними, волну рассекаю, / я плыву с лошадьми, вместе с нами беда, / лошадиная и людская. // И куда плывут — вместе с ними / и я на плаву: / для забвения нету причины, / но мгновения лишнего не проживу, / когда канут в пучину»<sup>235</sup>.

Однако что Слуцкий не может найти себе место, в результате даёт эпическую картину, где он и там и там, и люди и лошади<sup>236</sup> вместе, диптих, в своей военной половине содержащий формулу (или концепт, или как хотите) «Тоскуют солдаты о смерти своей, / А лошади требуют корму»<sup>237</sup>. Впрочем, голод общий, и река-

<sup>232</sup> «Стихи так нравились Эренбургу, что я их ему посвятил» («К истории моих стихотворений». — В кн.: *Слуцкий Б. О других и о себе*, с. 188).

<sup>233</sup> «Не отзвенело наше дело» (Борис Слуцкий в зеркале его переписки с друзьями). Публикация Б. Фрезинского. — «Вопросы литературы», 1999, № 3.

<sup>234</sup> Впервые — в «Юности» в 1978-м.

<sup>235</sup> В результате лошади у Слуцкого настолько прочно обосновались, что по инерции возникают и в безотносительных к войне и Голодомору случаях: «Как лошади спят и едят на ходу / свою немудрящую пищу, — / и я научился слагать на ходу / свои немудрящие рифмы. // А впрочем и есть и не то чтобы спать — / дремать на ходу я умею. / В то время, как лошади на ходу / стихи сочинять не способны» («Новый мир», 2017, № 11; публикация А. Крамаренко), соотносящееся с «Есть кони для войны / и для парада. / В литературе / тоже есть породы» из «М. В. Кульчицкого»; «Харьков. Мы на велосипедах, / этих вовсе ещё не воспетых / междувременья лошадах <...>» («Как использовать машину времени?») и т. д. — лошадиных метафор у него очень много.

<sup>236</sup> Они даже в балладе не о них, а о собаках — «Собака с миной на шее» («Неоконченные споры»), — всё равно есть, и на первом месте: «Все живые существа войны — / лошади, и люди, и собаки <...>»

<sup>237</sup> «Незаконченные размышления», где до этих строк «Я выйду на волю и стану в рост: / Приму по реке оборону» и после «Убьют меня — скажут — чужак был еврей! / А струшу — скажут — норма!»



океан тоже: «Бросили меня посреди речки, / именуемой большой войной. / Стонут, стонут, стонут человечки. / Тонут, тонут рядышком со мной»<sup>238</sup>. И чтоб отбросить самые уже последние сомнения из-за того, что могло и совпасть, — баллада, посвящённая Дню победы, у Слуцкого начинается так: «Страдания людей и лошадей, / мучения столиц и деревень / окончились»<sup>239</sup>.

И только слово «окончились» относит это ко второй части диптиха, всё остальное — к первой, в которой:

Когда в деревне голодали —  
и в городе недоедали.

Но всё ж супец пустой в столовой  
не столь заправлен был бедой,  
как щи с крапивой,  
хлеб с половиной,  
с корой,  
а также с лебедой.

За городской чертой кончались  
больница, карточка, талон,  
и мир села сидел, отчаясь,  
с пустым горшком, с пустым столом,  
пустым амбаром и овином,  
со взором, скорбным и пустым,  
отцом оставленный и сыном  
и духом брошенный святым.

Там смерть была наверняка,  
а в городе — а вдруг устроюсь!  
Из каждого товарняка  
ссыпались слабость, хворость, робость.

И в нашей школе городской  
крестьянские сидели дети,  
с сосредоточенной тоской  
смотревшие на всё на свете.

<sup>238</sup> «Новый мир», 2017, № 11.

<sup>239</sup> «Первый день» («Сроки»).

Сидели в тихом забытьё,  
не бегали по переменкам  
и в городском своём житьё  
всё думали о деревенском.<sup>240</sup>

Но куда сильнее соединяет диптих воедино баллада «Говорит Фома», которую Юрий Болдырев относит к стихам 1952–1956-го, не вошедшим в «Память» и «Время»:

Сегодня я ничему не верю:  
Глазам — не верю,  
Ушам — не верю.  
Пощупаю — тогда, пожалуй, поверю:  
Если на ощупь — всё без обмана.

Мне вспоминаются хмурые немцы,  
Печальные пленные 45-го года,  
Стоявшие — руки по швам — на допросе.  
Я спрашиваю — они отвечают.

— Вы верите Гитлеру? — Нет, не верю.  
— Вы верите Герингу? — Нет, не верю.  
— Вы верите Геббельсу? — О, пропаганда!  
— А мне вы верите? — Минута молчанья.  
— Господин комиссар, я вам не верю.  
Всё пропаганда. Весь мир — пропаганда.

Если бы я превратился в ребёнка,  
Снова учился в начальной школе,  
И мне бы сказали такое:  
Волга впадает в Каспийское море!  
Я бы, конечно, поверил. Но прежде  
Нашёл бы эту самую Волгу,  
Спустился бы вниз по течению к морю,  
Умылся его водой мутноватой  
И только тогда бы, пожалуй, поверил.

Лошади едят овёс и сено!  
Ложь! Зимой 33-го года  
Я жил на тощей, как жердь, Украине.

---

<sup>240</sup> «Деревня и город (Начало 30-х)» (курсив Слуцкого или публикаторов) из «Сроков».

Лошади ели сначала солому,  
 Потом — худые соломенные крыши,  
 Потом их гнали в Харьков на свалку.  
 Я лично видел своими глазами  
 Суровых, серьёзных, почти что важных  
 Гнедых, караковых и буланных,  
 Молча, неспешно бродивших по свалке.

Они ходили, потом стояли,  
 А после падали и долго лежали,  
 Умирили лошади не сразу...  
 Лошади едят овёс и сено!  
 Нет! Неверно! Ложь, пропаганда.  
 Всё — пропаганда. Весь мир — пропаганда.

Вот те самые лошади, что потом будут везде, и Голодомор войдёт в тексты как характеристика харьковского детства, чего бы оно ни касалось, семьи, школы, базара, литературы и т. д.: «Долгий голод — в начале тридцатых годов» («Моя средняя школа»), «Харьков мне казался удивительно / параллельным милому Парижу: / город — городу, / голод — голоду, / пафос — пафосу, / а тридцать третий год / моего двадцатого столетия — / девяносто третьему / моего столетия восемнадцатого» («Три столицы [Харьков — Париж — Рим]»), «В ход пошли ребята с окраин, / здоровенные, / словно голод / обломал об них свои зубы» («Велосипеды»), «Вот он, Харьков полуголодный, / тощий, плоский, словно медаль» («Как использовать машину времени?»), — а понятие голода вообще станет ключевым в мировосприятии: ««...» голод — сильное чувство, едва ли не самое сильное»<sup>241</sup>, — и оголится, останется единственным, действительно самым сильным, когда окружающий мир, стихи, друзья, интересы, всё-всё, исчезнет<sup>242</sup>. Владимир Огнев пишет о Слуцком, попавшем после

<sup>241</sup> «Мой друг Миша Кульчицкий». — В кн.: *Слуцкий Б.* О других и о себе, с. 231.

И — словно формула — помните: «Есть понятие — величие духа, / и ещё понятие — голодуха?»

<sup>242</sup> Дмитрий Быков говорит: ««...» поэзия была тем способом самоорганизации, приведения себя в чувство, которым он пользовался многие годы для борьбы с депрессиями, с ужасом мира, это была единственная опора, с помощью которой он умудрялся, столько натерпевшись и навидавшись, сохранять рассудок. Когда это отказало, безумие подступило вплотную — ум остался, исчезло желание и сила жить,

смерти жены в психиатрическую больницу: «В Кашенко я бывал уже ежедневно, носил еду. Готовила моя жена специальные блюда, которые он любил. До этого предпочитал еду солдатскую: щи да кашу. Был непривередлив. Но в Кашенко, то ли под влиянием неких препаратов, то ли ещё почему-то, вдруг стал капризен в еде и даже... жаден. Съедал принесённое мною, быстро заглатывая пищу, вытирал рот салфеткой и, не прощаясь, молча уходил в палату. Когда я опаздывал — такое случилось дважды, — он говорил ворчливо: “Я умираю от голода!” Всё было не так. Не тот становился Слуцкий»<sup>243</sup>. Племянница вспоминает о последних его годах, у брата в Туле: «Слуцкий страдал бессонницей, он вечером принимал лекарство, а где-то в час ночи его действие заканчивалось, и Борис Абрамович начинал ходить из своей комнаты через проходной зал на кухню и обратно. И так каждую ночь до утра...»<sup>244</sup>.

\* \* \*

Р. С. Без всякого символизма: в той части большого, на весь квартал, торгового центра «Протонь»<sup>245</sup>, где когда-то стоял дом Слуцкого, недавно открылся общепит «КФС».

потом начались фобии — страх нищеты, страх голода...» (*Быков Д.* Выход Слуцкого. — «Русская жизнь», 20.05.2009 [<http://rulife.ru/old/mode/article/1283/>]).

И вот как у самого Слуцкого о голоде и поэзии: «Хотелось есть. / И в детстве, / и в отрочестве. / В юности тоже хотелось есть. / Не отвлекали помыслы творческие / и не мешали лести и месть / аппетиту. / Хотелось мяса. / Жареного, до боли аж! / Кроме мяса, / имелаась масса / разных гастрономических жажд. // <...> Наголодавшись за долгие годы, / хотелось попросить судьбу / о даровании единственной льготы: / жрать! / Чтоб дыханье спёрло в зубу. // Думалось: вот наемся, напьюсь / всего хорошего, что естся и пьётся, / и творческая жилка забьётся, / над вымыслом слезами обольюсь» («Желанье поеть», впервые — в «Юности» в 1979-м; и этому совершенно не противоречит «Стихи заводятся от сырости, / от голода и от войны / и не заводятся от сытости <...>» [из 1961–1963-го]).

<sup>243</sup> *Огнев В.* Мой друг Борис Слуцкий. — В кн.: Борис Слуцкий: Воспоминания современников, с. 286.

<sup>244</sup> *Овчинников Д.* Тульский «шестидесятник». — «Молодой коммунар», 18.11.2016 (<http://mk.tula.ru/articles/a/66739/>).

<sup>245</sup> Площадь Защитников Украины, 7/8. По справочнику 1913 года здесь — между Военной и Конной улицами — находилось три дома: №№ 9, 10 и 11. (Владельцем 9-го — вдруг когда-то поможет в дальнейших слуцких поисках — был в то время «Жуковъ В. Д.»).

*Борис Слуцкий*

[ХАРЬКОВ]<sup>246, 247</sup>

**«ПАМЯТЬ. КНИГА СТИХОВ»  
(1957)**

**Гудки**

Я рос в тени завода  
И по гудку, как весь район, вставал —  
Не на работу:

я был слишком мал —

В те годы было мне четыре года.  
Но справа, слева, спереди — кругом  
Ходил гудок. Он прорывался в дом,  
Отца будя и маму поднимая.

А я вставал  
И шёл искать гудок, но за домами  
Не находил.  
Ведь я был слишком мал.

С тех пор, и до сих пор, и навсегда  
Вошло в меня: к подъёму ли, к обеду  
Гудят гудки — порядок, не беда.  
Гудок не вовремя приносит беды.

---

<sup>246</sup> Примерно по хронологии, сначала из книг (с указанием), составленных самим Слуцким или Болдыревым — до трёхтомника, — затем (без указаний, они есть в «Писателях в Харькове. Слуцкий») из журнальных и прочих публикаций. Всё, что более-менее относится к Харькову; с чем были сомнения на этот счёт — не включено; а что-то, может быть, и пропущено, не идентифицировано. И, да, архив же не разобран ещё до конца публикаторами.

<sup>247</sup> Многое в «Писателях в Харькове. Слуцкий» цитировалось или приводилось целиком, но там — это там, а здесь — своим блоком, все вместе, в контексте.

Не вовремя в тот день гудел гудок,  
Пронзительней обычного и резче,  
И в первый раз какой-то странный, вещий  
Мне на сердце повеял холодок.

В дверь постучали, и сосед вошёл,  
И так сказал — я помню все до слова:  
— Ведь Ленин помер. —  
И присел за стол.  
И не прибавил ничего другого.

Отец вставал,  
                                садился,  
  вновь вставал.  
Мать плакала,  
                                склонясь над малышами,  
А я был мал,  
                                и что случилось с нами —  
Не понимал.

### Медные деньги

Я на медные деньги учился стихам —  
На тяжёлую, гулкую медь.  
И набат этой меди с тех пор не стихал,  
До сих пор продолжает греметь.  
Мать, бывало, на завтрак даёт мне пятак,  
А позднее — и два пятака.  
Я терпел до обеда и завтракал так,  
Покупая брошюры с лотка.  
Сахар вырос в цене или хлеб вздорожал —  
Дешевизною Пушкин зато поражал.  
Полки в булочных часто бывали пусты,  
А в читальнях ломились они  
От стиха,  
                                от безмерной его красоты.  
Я в читальнях просиживал дни.



Мальчишку-вора,  
в люди выводя.

Здесь в люди выводили только так.  
И мальчик под ударами кружился,  
И веский катерининский пятак  
На каждый глаз убитого ложился.

Но время шло — скорее с каждым днём,  
И вот —  
превыше каланчи пожарной,  
Среди позорной погани базарной,  
Воздвигся столб  
и музыка на нём.

Те речи, что гремели со столба,  
И песню —  
ту, что со столба звучала,  
Торги замедлив,  
слушала толпа  
Внимательно,  
как будто изучала.

И сердце билось весело и сладко.  
Что музыке буржуи — нипочём!  
И даже физкультурная зарядка  
Лоточников  
хлестала, как бичом.

### **Летом**

Словно вход,  
Словно дверь —  
И сейчас же за нею  
Начинается время,  
Где я начинался.





И любую секунду  
В этом часе, наверно,  
Несчастливым я буду!

Но снимается с тачки блестящая крышка,  
И я слышу: «Бери!  
Ты хороший мальчишка!»

### **Тополя**

Я в Харькове опять. Среди аллей  
Солидно шелестящих тополей —  
Для тени, красоты и наслаждений  
Посаженных народом насаждений.  
Нам двадцать с лишним лет тому назад  
Обещано: здесь будет город-сад.  
И достоверней удостоверений  
Тополя над Харьковом шумят.

Да, тополь был необходимым признан —  
Народом постановлено моим,  
Что коммунизм не станет коммунизмом  
Без тополиных шелестов над ним.  
И слабыми, неловкими руками  
Мы, школьники, окапывали ямы  
Для слабеньких и худеньких ростков.

Их столько зорких стерегло врагов!  
Их бури гнули. Суховеи жгли.  
Под корень оккупанты вырубали.  
Заборами, дровами и гробами,  
Наверно, тыщи тополей пошли.

Но как на место павшего солдат  
Становится, минуты не теряет, —  
Так новые посадки шелестят  
И словно старый шелест повторяют.

Всё правильно, дела идут на лад!  
И в Харькове, Москве, по всей России  
Те слабые ростки, что мы растили,  
Большими тополями шелестят.

**«СЕГОДНЯ И ВЧЕРА.  
КНИГА СТИХОВ»  
(1961)**

**Деревья и мы**

Я помню квартиры наши холодные  
И запах беды.  
И взрослых труды.  
Мы все были бедные.  
Не то чтоб голодные,  
А просто — мало было еды.

Всего было мало.  
Всего не хватало  
Детям и взрослым того квартала,  
Где рос я.  
Где по снегу в школу бежал  
И в круглые ямы деревья сажал.

Мы все были бедные.  
Но мы не вешали  
Носов,  
мокроватых от многих простуд,  
Гордо, как всадники, ходили пешие  
Смотреть, как наши деревья растут.

Как тополь (по-украински — явор),  
Как бук (по-украински — бук)  
Растут, мужают.

Становится явью  
Дело наших собственных рук.

Как мы, худые,  
Как мы, зелёные,  
Как мы, весёлые и обозлённые,  
Не признающие всяческой тьмы,  
Они тянулись к свету, как мы.

А мы называли грядущим будущее  
(Грядущий день — не завтрашний день)  
И знали:  
дел неслеланных груды ещё  
Найдутся для нас, советских людей.

А мы приучались читать газеты  
С двенадцати лет,  
С десяти,  
С восьми  
И знали:  
пять шестых планеты —  
Капитализм, а шестая — мы.

Капитализм в нашем детстве выгрыз  
Поганую дырку, как мышь в хлебу,  
И всё же наш возраст рос и вырос  
И вынес войну  
На своём горбу.

\* \* \*

Высоко́ он голову носил,  
Высоко́-высо́ко.  
Не ходил, а словно восходил,  
Словно солнышко с востока.

Рядом с ним я — как сухая палка  
Рядом с тёплой и живой рукою.  
Всё равно — не горько и не жалко.  
Хорошо! Пускай хоть он такой.

Мне казалось, дружба — это служба.  
Друг мой — командирский танк.  
Если он прикажет: «Делай так!» —  
Я готов был делать так — послушно.

Мне казалось, дружба — это школа.  
Я покуда ученик.  
Я учусь не очень скоро.  
Это потруднее книг.

Всякий раз, как слышу первый гром,  
Вспоминаю,  
Как он стукнул мне в окно: «Пойдём!»  
Двадцать лет назад в начале мая.

## Воспоминание

Я на палубу вышел, а Волга  
Бушевала, как море в грозу.  
Волны бились и пели. И долго  
Слушал я это пенье внизу.

Звук прекрасный, звук протяжённый,  
Звук печальной и чистой волны:  
Так поют солдатские жёны  
В первый год многолетней войны.

Так поют. И действительно, тут же,  
Где-то рядом, как прядь у виска,  
Чей-то голос тоскует и тужит,  
Песню над головой расплескав.

Шёл октябрь сорок первого года.  
На восток увозил пароход  
Столько горя и столько народа,  
Столько будущих вдов и сирот.

Я не помню, что беженка пела,  
Скоро голос солдатки затих.  
Да и в этой ли женщине дело?  
Дело в женщинах! Только — в других.

Вы, в кого был несчастно влюблённым,  
Вы, кого я счастливо любил,  
В дни, когда молодым и зелёным  
На окраине Харькова жил!

О девчонки из нашей школы!  
Я вам шлю свой сердечный привет,  
Позабудьте про факт невесёлый,  
Что вам тридцать и более лет.

Вам ещё блистать, красоваться!  
Вам ещё сердца потрясать!  
В оккупациях, в эвакуациях  
Не поблёкла ваша краса!

Не померкла, нет, не поблёкла!  
Безвозвратно не отошла,  
Под какими дождями ни мокла,  
На каком бы ветру ни была!

«РАБОТА. 4 КНИГА СТИХОВ»  
(1964)

**Тридцатые годы**

Двадцатые годы — не помню.  
Тридцатые годы — застал.  
Трамвай, пассажирами полный,  
спешит от застав до застав.  
А мы, как в набитом трамвае,  
мечтаем, чтоб время прошло,  
а мы, календарь обрывая,  
с надеждой глядим на число.  
Да что нам, в трамвае стоящим,  
хранящим локтями бока,  
зачем дорожить настоящим?  
Прощай, до свиданья, пока!  
Скорее, скорее, скорее  
Года б сквозь себя пропускать!  
Но времени тяжкое бремя  
таскать — не перетаскать.  
Мы выросли. Взрослыми стали.  
Мы старыми стали давно.  
Таскали — не перетаскали  
всё то, что таскать нам дано.  
И всё же тридцатые годы  
(не молодость, — юность моя),  
какую-то важную льготу  
в том времени чувствую я.  
Как будто бы доброе дело  
я сделал, что в Харькове жил,  
в неполную среднюю бегал,  
позднее — в вечерней служил,  
что соей холодной питался,  
процессы в газетах читал,  
во всём разобраться пытался,  
пророком себя не считал.

Был винтиком в странной, огромной  
махине, одетой в леса,  
что с площади аэродромной  
взлетела потом в небеса.

### **Музшкола имени Бетховена в Харькове**

Меня оттуда выгнали за проф  
так называемую непригодность.  
И всё-таки не пожалею строф  
и личную не пощажу я гордость,  
чтоб этот домик маленький воспеть,  
где мне пришлось терпеть и претерпеть.  
Я был бездарен, весел и умён,  
и потому я знал, что я — бездарен.  
О, сколько бранных прозвищ и имён  
я выслушал: ты глуп, неблагодарен,  
тебе на ухо наступил медведь.  
Поёшь? Тебе в чащобе бы реветь.  
Ты никогда не будешь понимать  
не то что чижик-пыжик — даже гаммы!  
Я отчислялся — до прихода мамы,  
но приходила и вмешивалась мать.  
Она меня за шиворот хватала  
и в школу шла, размахивая мной.  
И объясняла нашему кварталу:  
— Да, он ленивый, да, он озорной,  
но он способный: поглядите руки,  
какие пальцы: дециму берёт.  
Ты будешь пианистом. Марш вперёд!  
И я маршировал вперёд. На муки.  
Я не давался музыке. Я знал,  
что музыка моя — совсем другая.  
А рядом, мне совсем не помогая,  
скрипели скрипки и хирел хорал.



Так я мужал в музшколе той вечерней,  
одолевал упорства рубежи,  
сопротивляясь музыке учебной  
и повинуюсь музыке души.

\* \* \*

Отягощённый родственными чувствами,  
Я к тётке шёл,  
        чтоб дядю повидать,  
Двоюродных сестёр к груди прижать,  
Что музыкой и прочими искусствами,  
Случалось,  
        были так увлечены!

Я не нашёл ни тётки и ни дяди,  
Не повидал двоюродных сестёр,  
Но помню,  
        твёрдо помню  
                                до сих пор,  
Как их соседи,  
        в землю глядя,  
Мне тихо говорили: «Сожжены...»

Всё сожжено: пороки с добродетелями  
И дети с престарелыми родителями.  
А я стою пред тихими свидетелями  
И тихо повторяю:  
        «Сожжены...»

**«СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИИ:  
НОВАЯ КНИГА СТИХОВ»  
(1969)**

**Холсты Акопа Коджояна**

Сарьян — в хрестоматии нашего глаза.  
Он ясен для младшего школьного класса  
и прост, словно воздух, которым дышу.  
И больше я про него не пишу.

Сарьян — это выигранное сражение.  
А слово — искусственное орошение  
пустынь и полупустынь — песков.  
Поэтому я приглашу Коджояна:  
восстань из могилы!  
Ты умер так рано!  
Полотна развесь!  
Покажись нам, Акоп!

Пусть медленные заведут разговоры  
тобою нагромождённые горы.

Пускай нам окажут почёт и доверье  
тобою возвращённые лёгкие звери.  
Пусть птицы твои защебечут над нами,  
обсудят, осудят мой каждый изъян  
и с нами поделятся птичьими снами.  
Какими — ты знаешь,

Акоп Коджоян!

И ежели ныне не встретишь оленя  
и лани,  
исполненной сладостной лени,  
в горах и долинах армянской земли, —  
они на холсты Коджояна ушли.

Я, сызмальства,  
с Харькова,  
с детства  
узнавший  
армянский рассудок, порядок и чин,  
настаиваю,  
чтоб на выставках наших  
просторные стенки  
Акоп получил.  
О милый цветок каменистой земли  
роскошествуй! Душу мою весели!

**«ГОДОВАЯ СТРЕЛКА. СТИХИ»  
(1971)**

**Ёлка**

Гимназической подруги  
мамы  
стаяка дочерей  
светятся в декабрьской вьюге,  
словно блики фонарей.  
Словно ёлочные свечи  
тонкие сияют плечи.

Затянувшуюся осень  
только что зима смела.  
Сколько лет нам? Девять? Восемь?  
Ёлка первая светла.  
Я задумчив, грустен, тих:  
в нашей школе нет таких.

Как зовут их? Вика? Ника?  
Как их радостно зовут!

— Мальчик, — говорят, — взгляни-ка!  
— Мальчик, — говорят, — зовут! —  
Я сгораю от румянца.  
Что мне, плакать ли, смеяться?

— Шура — это твой? Большой.  
Вспомнила, конечно. Боба. —  
Я стою с пустой душой.  
Душу выедаёт злоба.  
Боба! Имечко! Позор!  
Как терпел я до сих пор!

Миг спустя и я забыт.  
Я забыт спустя мгновенье,  
хоть меня ещё знобит,  
сводит от прикосновенья  
тонких, лёгких детских рук,  
ввысь!

подбрасывающих вдруг.

Я лечу, лечу, лечу,  
не желаю опуститься,  
я подарка не хочу,  
я не требую гостинца,  
только длились бы всегда  
эти радость и беда.

«ДОБРОТА ДНЯ.  
НОВАЯ КНИГА СТИХОВ»  
(1973)

**Отец**

Я помню отца выключающим свет.  
Мы все включали, где нужно,  
а он ходил за нами и выключал, где можно,  
и бормотал неслышно какие-то соображения  
о нашей любви к порядку.

Я помню отца читающим наши письма.  
Он их поворачивал под такими углами,  
как будто они таили скрытые смыслы.  
Они таили всегда одно и то же —  
шутейные сентенции типа  
«здоровье — главное!».  
Здоровые,  
мы нагло писали это больному,  
верящему свято  
в то, что здоровье —  
главное.  
Нам оставалось шутить не слишком долго.

Я помню отца, дающего нам образование.  
Изгнанный из второго класса  
церковноприходского училища  
за то, что дерзил священнику,  
он требовал, чтобы мы кончали  
все университеты.  
Не было мешка,  
который бы он не поднял,  
чтобы облегчить нашу ношу.

Я помню, как я приехал,  
вызванный телеграммой,  
а он лежал в своей куртке —

полувоенного типа —  
в гробу — соснового типа, —  
и когда его опускали  
в могилу — обычного типа,  
тёмную и сырую,  
я вспомнил его  
выключающим свет по всему дому,  
разглядывающим наши письма  
и дающим нам образование.

### Моя средняя школа

Девяносто четвёртая полная средняя!  
Чем же полная?  
Тысячью учеников.  
Чем же средняя, если такие прозрения  
в ней таились, быть может, для долгих веков!

Мы — ребята рабочей окраины Харькова,  
дети наших отцов,  
слесарей, продавцов,  
дети наших усталых и хмурых отцов,  
в этой школе учились  
и множество всякого  
услышали, познали, увидели в ней.  
На уроках,  
а также и на переменах  
рассуждали о сдвигах и о переменах  
и решали,  
что совестливей и верней.

Долгий голод — в начале тридцатых годов,  
грозы, те, что поздней над страной разразились,  
стойкости  
перед лицом голодов  
обучили,  
в сознании отразились.

Позабыта вся алгебра — вся до нуля,  
геометрия — вся, до угла — позабыта,  
но политика нас проняла, доняла,  
совесть —  
в сердце стальными гвоздями забита.

### Три столицы (Харьков — Париж — Рим)

Совершенно изолированно от двора, от семьи  
и от школы  
у меня были позиции свои  
во Французской революции.  
Я в Конvente заседал. Я речи  
беспощадные произносил.  
Я голосовал за казнь Людовика  
и за казнь его жены,  
был убит Шарлоттою Корде  
в никогда не виденной мною ванне.  
(В Харькове мы мылись только в бане.)  
В 1929-м в Харькове на Конной площади  
проживал формально я. Фактически —  
в 1789-м  
на окраине Парижа.  
Улицы сейчас, пожалуй, не припомню.  
Разница в сто сорок лет, в две тысячи  
километров — не была заметна.  
Я ведь не смотрел, что ел, что пил,  
что недоедал, недопивал.  
Отбывая срок в реальности,  
каждый вечер совершал побег,  
каждый вечер засыпал в Париже.  
В тех немногих случаях, когда  
я заглядывал в газеты,  
Харьков мне казался удивительно  
параллельным милому Парижу:  
город — городу,  
голод — голоду,

пафос — пафосу,  
а тридцать третий год  
моего двадцатого столетия —  
девяносто третьему  
моего столетия восемнадцатого.  
Сверив призрачность реальности  
с реализмом призраков истории,  
торопливо выхлебавши хлебово,  
содрогаюсь: что там с Робеспьером? —  
Я хватал родимый том. Стремглав  
падал на диван и окунался  
в Сену.  
И сквозь волны  
видел парня,  
яростно листавшего Плутарха,  
чтоб найти у римлян ту Республику,  
ту же самую республику,  
в точности такую же республику,  
как в неведомом,  
невиданном, неслыханном,  
как в невообразимом Харькове.

**«ПРОДЛЁННЫЙ ПОЛДЕНЬ.  
КНИГА СТИХОВ»  
(1975)**

**Отец**

— Коли́ меня, дочка! — сказал отец. —  
Коли меня хорошо.  
— Я буду тебя хорошо колоть, —  
ответила сестра.  
Игла преодолела плоть,  
вялую вену нашла.



Вот так наступил конец  
в полвосьмого утра.

Ему так хотелось: дочитать  
газеты за этот век,  
выглядывать по утрам в окно,  
а днём ходить в кино.  
Он годы свои не любил считать,  
поскольку слаб человек.  
Зато он очень любил вспоминать  
о том, что было давно.

О том, что было давно, — вспоминать.  
О том, что будет вскоре, — гадать.  
На рынке — мятость рублей менять  
на плодоовощную благодать.

Всё то, что близко и далеко,  
газеты ему приводили на суд,  
и стариковство он нёс легко,  
как только лёгкую юность несут.

Так чем же был счастлив, чему же рад  
среди ежедневных своих зыбей,  
болезней старческих конгломерат,  
скудельный сосуд обидных скорбей!

Он говорил: «У меня сыновья,  
и дочь, и двое внучат.  
Они закончат, что начал я,  
что не успел начать».

Он хлебу был благодарен за то,  
что дешёв он так давно,  
и демисезонному пальто,  
и широкоэкранным кино.

Кончается пригожий день —  
любил он такие дни.  
Вытягивается большая тень.  
Затеplелись огни,  
а я продумываю до конца  
уроки моего отца.

### **Велосипеды**

Важнее всего были заводы.  
Окраины асфальтировали прежде,  
чем центр. Они вели к заводам.  
Харьковский Паровозный.  
Харьковский Тракторный.  
Харьковский Электромеханический.  
Велозавод.  
«Серп и молот».  
На берегу асфальтовых речек  
дымили огромные заводы.  
Их трубы поддерживали дымы,  
а дымы поддерживали небо.  
Автомобилей было мало.  
Вечерами  
мы выезжали на велосипедах  
и гоняли по асфальту,  
лучшему на Украине,  
но пустынному, как пустыня.  
Столицу  
перевели из Харькова в Киев.

Мы утешались тем, что Харьков  
остался промышленною столицей  
и может стать спортивной столицей  
хоть Украины, хоть всего мира.  
В ход пошли ребята с окраин,

здоровенные,  
  словно голод  
обломал об них свои зубы.  
Вечерами, когда машины  
уезжали, асфальт оставался  
в нашем безраздельном владении.  
Темп давал Серёжка Макеев.  
В школе он продвигался тихо.  
По асфальту двигался лихо.  
Мы, отчаявшиеся угнаться  
за Серёжкой,  
не подозревали,  
что он ставит рекорд за рекордом,  
сам того не подозревая:  
на часы у нас не было денег.  
Прыгнув на седло,  
  спокойно  
оглядев нас,  
  он обычно  
говорил: даю вам темпик!  
Икры, как пивные бутылки.  
Руки, как руля продолжение:  
от подмёток и до затылка  
совершенный образ движенья.  
Только мы его и видали!

Он в какие-то дальние дали  
уносился, как реактивный.  
Темп давал Серёжка Макеев.  
Где он, куда же он умчался,  
чемпион тридцать восьмого  
или тридцать девятого года?  
Промельк спиц его  
  на солнце  
слился во второе солнце  
и, наверно, по небу бродит.  
Руки в руль впились, впаялись.

Линия рук и линии машины  
соединились в иероглиф,  
обозначающий движение.  
Где ты, где ты, где ты, где ты,  
чемпион поры предвоенной?  
Есть же мнение, что чемпионы  
неотъемлемо от чемпионатов  
уезжают на велосипедах  
на те прекрасные склады,  
где хранятся в полном порядке  
смазанные солидолом годы.

### **Без нервов**

Родители были нервные,  
кричащие, возбуждённые.  
Соседи тоже нервные,  
угрюмые, как побеждённые.  
И педагоги тоже  
орали, сколько могли.  
Но, как ни удивляйтесь,  
мне они помогли.

Отталкиваясь от примеров  
в том распорядке исконном,  
я перестал быть нервным,  
напротив, стал спокойным.  
Духом противодействия  
избылась эта беда:  
я выкричался в детстве  
и не кричу никогда.

## «НЕОКОНЧЕННЫЕ СПОРЫ.

## СТИХИ»

(1978)

**Как использовать машину времени?**

Попадись мне машина времени!  
Я бы не к первобытному племени  
полетел,  
на костров его дым,  
а в страну, где не чувствуешь бремени  
лет,  
где я бы стал молодым.

Вот он, Харьков полуголодный,  
тощий, плоский, словно медаль.  
Парусов голубые полотна  
снова мчат меня в белую даль.

Недохватка, недоработка,  
недовес: ничего сполна, —  
но под парусом мчится лодка,  
ветром юности увлечена.

Харьков. Мы на велосипедах,  
этих вовсе ещё не воспетых  
междувременья лошадях,  
едем на его площадях.

Харьков. Мы в его средних школах:  
то вбиваем в ворота гол,  
то серчаем в идейных спорах,  
то спрягаем трудный глагол.

Харьков. Очереди за хлебом.  
Достою ли?  
Достанется ли?  
Но зато — под высоким небом,  
посреди широкой земли!

Плохо нам,  
но мы молодые.  
Холодынь и голодынь  
переносят легко молодые,  
потому что легко молодым.

### **Очень много сапожников**

Много сапожников было в родне,  
дядями приходившихся мне —  
ближними дядями, дальними дедами.  
Очень гордились моими победами,  
словно своими и даже вдвойне,  
и угощали, бывало, обедами.

Не было в мире серьёзней людей,  
чем эта знать деревянных гвоздей,  
шила, и дратвы, и кожи шевро.  
Из-под очков, что через переносицу  
жизнь напролёт безуданно проносятся,  
мудро глядели они и остро.

Сжав в своих мощных ладонях ножи,  
словно грабители на грабежи,  
шли они — славное войско — на кожу.  
Гнули огромные спины весь день.  
Их, что отбросили долгую тень  
на мою жизнь, забывать мне негоже.

Среднепоместные, мелкопоместные  
были писатели наши известные.  
Малоизвестным писателем — мной,  
шумно справляя свои вечерухи,  
новости обсуждая и слухи,  
горд был прославленный цех обувной.

### Польза невнимательности

Не слушал я, что физик говорил,  
и физикой мозги не засорил.  
Математичка пела мне, старуха,  
я слушал математику вполуха.

Покуда длились школьные уроки,  
исполнились науки старой сроки,  
и смысл её весь без вести пропал.  
А я стишки за партою кропал.

А я кропал за партою стишки,  
и весело всходили васильки  
и украшали без препон, на воле,  
учителями паханное поле.

Голубизна прекрасных сорняков  
усваивалась без обиняков,  
и оказалось, что совсем не нужно  
всё то, что всем тогда казалось нужно.

Ньютон-старик Эйнштейном-стариком  
тогда со сцены дерзко был влеком.  
Я к шапочному подоспел разбору,  
поскольку очень занят был в ту пору.

Меняющегося мироздания грохот,  
естественниками проведённый опыт  
не мог меня отвлечь или привлечь:  
я слушал лирики прямую речь.

### Какой полковник!

Какой полковник! Четыре шпалы!  
В любой петлице по две пары!  
В любой петлице частокол!  
Какой полковник к нам пришёл!

А мы построились по росту.  
Мы рассчитаемся сейчас.  
Его веселье и геройство  
легко выравнивает нас.

Его звезда на гимнастёрке  
в меня впереяет острый луч.  
Как он прекрасен и могуч!  
Ему — души моей восторги.

Мне кажется: уже тогда  
мы в нашей полной средней школе,  
его

        вверяясь  
                        мощной воле,  
провидели тебя, беда,  
провидели тебя, война,  
провидели тебя, победа!

Полковник нам слова привета  
промолвил.  
Речь была ясна.

Поигрывая мощью плеч,  
сияя светом глаз спокойных,  
полковник произнёс нам речь:  
грядущее предрёк полковник.



## И дяди и тётки

Дядя, который похож на кота,  
с дядей, который похож на попа,  
главные занимают места:  
дядей толпа.

Дядя в отглаженных сюртуках.  
Кольца на сильных руках.  
Рядышком с каждым, прекрасна на вид,  
тётка сидит.

Тётка в шелку, что гремит на ходу,  
вдруг к потолку  
воздевает глаза  
и говорит, воздевая глаза:  
— Больше сюда я не приду!

Музыка века того: граммофон.  
Танец эпохи той давней: тустеп.  
Ставит хозяин пластиночку. Он  
вежливо приглашает гостей.

Я пририсую сейчас в уголке,  
как стародавние мастера,  
мальчика с мячиком в слабой руке.  
Это я сам, объявиться пора.

Видите мальчика рыжего там,  
где-то у рамки дубовой почти?  
Это я сам. Это я сам!  
Это я сам в начале пути.

Это я сам, как понять вы смогли.  
Яблоко, данное тёткой, жую.  
Ветры, что всех персонажей смели,  
сдуть не решились пушинку мою.

Все они канули, кто там сидел,  
все пировавшие, прямо на дно.  
Дяди ушли за последний предел  
с томными тётями заодно.

Яблоко выдала в долг мне судьба,  
чтоб описал, не забыв ни черта,  
дядю, похожего на попа,  
с дядей, похожего на кота.

### Преодоление головной боли

У меня болела голова,  
что и продолжалось года два,  
но без перерывов, передышек,  
ставши главной формой бытия.  
О причинах, это породивших,  
долго толковать не стану я.

Вкратце: был я ранен и контужен,  
и четыре года — на войне.  
Был в болотах навсегда простужен.  
На всю жизнь — тогда казалось мне.

Стал я второй группы инвалид.  
Голова моя болит, болит.

Я не покидаю свой диван,  
а читаю я на нём — роман.

Дочитаю до конца — забуду.  
К эпилогу — точно забывал,  
кто кого любил и убивал.  
И читать с начала снова буду.

Выслуженной на войне  
пенсии хватало мне  
длительное существование  
и надежду слабую питать,  
робостное упование,  
что удастся мне с дивана — встать.

В двадцать семь и двадцать восемь лет  
подлинной причины ещё нет,  
чтоб отчаяние одолело.  
Слушал я разумные слова,  
но болела голова  
день-деньской, за годом год болела.

Вкус мною любимого борща,  
харьковского, с мясом и сметаной,  
тот, что, и томясь, и трепеща,  
вспоминал на фронте неустанно, —  
даже этот вкус не обжигал  
уст моих, души не тешил боле  
и ничуть не помогал:  
головной не избывал я боли.

Если я свою войну  
вспоминать начну,  
все её детали и подробности  
реставрировать по дням бы смог!

Время боли, вялости и робости  
сбилось, слиплось, скомкалось в комок.

Как я выбрался из этой клетки?  
Нервные восстановились клетки?  
Время попросту прошло?  
Как я одолел сплошное зло?

Выручила, как выручит, надеюсь,  
и сейчас — лирическая дерзость.  
Стал я рифму к рифме подбирать  
и при этом силу набирать.

Это всё давалось мне непросто.  
Веры, и надежды, и любви  
не было. Лишь тихое упорство  
и волнение в крови.

Как ни мучит головная боль —  
блѣкну я, и вяну я, и никну, —  
подберу с утра пораньше рифму,  
для начала, скажем, «кровь — любовь».

Вспомню, что красна и горяча  
кровь, любовь же голубее неба.  
Чувство радостного гнева  
ставит на ноги и без врача.

Земно кланяюсь той, что поставила  
на ноги меня, той, что с колен  
подняла и крылья мне расправила,  
в жизнь преобразила весь мой тлен.

Вновь и вновь кладу земной поклон  
той, что душу вновь в меня вложила,  
той, что мне единственным окном  
изо тьмы на солнышко служила.

Кланяюсь поэзии родной,  
пребывавшей в чёрный день со мной.

«СРОКИ.  
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ»  
(1984)

Сон об отце

Засыпаю только лицом к стене,  
потому что сон — это образ конца  
или, как теперь говорят, модель.  
Что мне этой ночью приснится во сне?  
Загадаю сегодня увидеть отца,  
чтобы он с газетою в кресле сидел.

Он, устроивший с большим трудом  
дом,  
тянувший семью, поднявший детей,  
обучивший как следует нас троих,  
думал, видимо:  
мир — это тоже дом,  
от газеты требовал добрых вестей,  
горько сетовал, что не хватает их.

«Непорядок», — думал отец. Иногда  
даже произносил: — Непорядок! — он.  
До сих пор в ушах это слово отца.  
Мировая — ему казалось — беда  
оттого, что каждый хороший закон  
соблюдается,  
но не совсем до конца.

Он не верил в хаос,  
он думал, что  
бережливость, трезвость, спокойный тон  
мировое зло убьют наповал,  
и поэтому он лицевал пальто  
сперва справа налево,  
а потом слева направо его лицевал.

Он с работы пришёл.  
Вот он в кресле сидит.  
Вот он новость нашёл.  
Вот он хмуρο глядит.

Но потом разглаживается  
лоб отцов  
и улыбка смягчает  
твёрдый рот,  
потому что он знает,  
в конце концов,  
всё идёт к хорошему,  
то есть вперёд.

И когда он подумает обо всём,  
и когда это всё приснится мне,  
окончательно  
проваливаюсь  
в сон,  
привалясь к стене.

### Кульчицкий

Васильки на засаленном ворота  
Возбуждали общественный смех.  
Но стихи он писал в этом городе  
Лучше всех.

Просыпался и умывался —  
Рукомойник был во дворе.  
А потом целый день добивался,  
Чтоб строке гореть на заре.

Некрасивые, интеллигентные,  
Понимавшие всё раньше нас,  
Девы умные, девы бедные  
Шли к нему в предвечерний час.

Он был с ними небрежно ласковый,  
Он им высказаться давал,  
Говорил «да-да» и затаскивал  
На продавленный свой диван.

Больше часу он их не терпел.  
Через час он с ними прощался  
И опять, как земля, вращался,  
На оси тяжело скрипел.

Так себя самого убивая,  
То ли радуясь, то ли скорбя,  
Обо всём на земле забывая,  
Добывал он стихи из себя.

### Деревня и город (Начало 30-х)

Когда в деревне голодали —  
и в городе недоедали.

Но всё ж супец пустой в столовой  
не столь заправлен был бедой,  
как щи с крапивой,  
хлеб с половой,  
с корой,  
а также с лебедой.

За городской чертой кончались  
больница, карточка, талон,  
и мир села сидел, отчаясь,  
с пустым горшком, с пустым столом,  
пустым амбаром и овином,  
со взором, скорбным и пустым,  
отцом оставленный и сыном  
и духом брошенный святым.

Там смерть была наверняка,  
а в городе — а вдруг устроюсь!  
Из каждого товарняка  
ссыпались слабость, хворость, робость.

И в нашей школе городской  
крестьянские сидели дети,  
с сосредоточенной тоской  
смотревшие на всё на свете.  
Сидели в тихом забытье,  
не бегали по переменкам  
и в городском своём житье  
всё думали о деревенском.

### Внезапное воспоминание

Жилец схватился за жилет  
и пляшет.  
Он человек преклонных лет,  
а как руками машет,  
а как ногами бьёт паркет  
схватившийся за свой жилет  
рукою,  
и льётся по соседу пот  
рекою.

Всё пляшет у меховщика:  
и толстая его щека,  
и цепь золотая,  
и белизна его манжет,  
и конфессиональный жест —  
почти летая.  
И достигают высоты  
бровей угрюмые кусты  
и под усами зыбко  
бредущая улыбка.



А я — мне нет и десяти,  
стою и не могу уйти:  
наверно, понял,  
что полувека не пройдёт  
и это вновь ко мне придёт.  
И вот — я вспомнил.

Да, память шарит по кустам  
десятилетий. Здесь и там  
усердно шарит.  
Ей всё на свете нипочём.  
Сейчас бабахнет кирпичом  
или прожекторным лучом  
сейчас ударит.

### **Игра в кирпичи**

Битых кирпичей было столько,  
что не бросить их было нельзя.  
Развивая в себе стойкость стойка,  
понимая, такая стезя,  
в детства нашего в самом начале  
утверждали мы: всё нипочём,  
и бросались мы кирпичами,  
битым, ломаным кирпичом.

Небольшую дистанцию выбрав —  
метров несколько, щебню набрав,  
ритуальный твердили мы вызов,  
проверяли характер и нрав.  
В детства нашего самом начале  
утверждали мы: всё нипочём,  
и бросались мы кирпичами,  
битым, ломаным кирпичом.

Столько битв и ломало и било,  
столько войск пёрло против рожна,  
столько войн на земле этой было,  
и гражданская даже война!  
Нам всего не хватало. Обломков  
нам хватало — повсюду скрипят.  
Мы бросали их точно и ловко,  
попадали в себя и в ребят.

Целить в голову нам не хотелось.  
Чаще целили мы по ногам.  
Победить помогала нам смелость  
и азарт молодой помогал.  
В детства нашего самом начале  
утверждали мы: всё нипочём,  
и бросались мы кирпичами,  
битым, ломаным кирпичом.

## Харьковский Иов

Ермилов долго писал альфреско.  
Исполненный мастерства и блеска,  
лучшие харьковские стены  
он расписал в двадцатые годы,  
но постепенно сошёл со сцены  
чуть позднее, в тридцатые годы.

Во-первых, украинскую столицу  
перевели из Харькова в Киев —  
и фрески перестали смотреться:  
их забыли, едва покинув.  
Далее. Украинский Пикассо —  
этим прозвищем он гордился —  
в тридцатые годы для показа  
чем дальше, тем больше не годился.

Его не мучили, не карали,  
но безо всякого визгу и треску  
просто завешивали коврами  
и даже замазывали фреску.

Потом пришла война. Большая.  
Город обстреливали и бомбили.  
Взрывы росли, себя возвышая.  
Фрески — все до одной — погибли.

Непосредственно, самолично  
рассмотрел Ермилов отлично,  
как все расписанные стены,  
все его фрески до последней  
превратились в руины, в тени,  
в слухи, воспоминанья, сплетни.

Взрывы напоминали деревья.  
Кроны упирались в тучи,  
но осыпались всё скорее —  
были они легки, летучи,  
были они высоки, гремучи,  
расцветали, чтобы поблѣкнуть.

Глядя, Ермилов думал: лучше,  
лучше бы мне ослепнуть, оглохнуть.

Но не ослеп тогда Ермилов,  
и не оглох тогда Ермилов.  
Богу, кулачища вскинув,  
он угрожал, украинский Иов.

В первую послевоенную зиму  
он показывал мне корзину,  
где продолжали эскизы блѣкнуть,  
и позволял руками потрогать,  
и бормотал: лучше бы мне ослепнуть —  
или шептал: мне бы лучше оглохнуть.

## Метр восемьдесят два

Женский рост — метр восемьдесят два!  
Многие поклонники, едва  
доходя до плеч,  
соображали,  
что смешно смотреть со стороны,  
что ходить за нею — не должны.  
Но, сообразивши, продолжали.

Гордою пленительною статью,  
взоров победительною властью,  
даже,  
в клеточку с горошком,  
платьем  
выделялась —  
к счастью и к несчастью.

Город занял враг  
войны в начале.  
Продолжалось это года два.  
Понимаете, что же означали  
красота  
и метр восемьдесят два?

Многие красавицы, помельче  
ростом,  
длили тихое житьё.  
Метр восемьдесят два,  
её помета,  
с головою выдавал её.

С головою выдавал  
вражьему, мужчинскому наскоку,  
спрятаться ей не давал  
за чужими спинами нисколько.

Город был — прифронтовой,  
полный солдатни,  
до женщин жадной.

Как ей было  
с гордой головой,  
выглядевшей Орлеанской Жанной,  
исхудавшей, но ещё живой?

Есть понятие — величье духа,  
и ещё понятие — голодуха.

Есть понятие — совесть, честь,  
и старуха мать — понятие есть.

...В сорок третьем, в августе, когда  
город был освобождён, я сразу  
забежал к ней. Помню фразу:  
горе — не беда!

Ямой чёрною за ней зияли  
эти года два,  
а глаза светились и сияли  
с высоты метр восемьдесят два.

**«СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ:  
ИЗ НЕИЗДАННОГО»  
(1988)**

\* \* \*

Первый доход: бутылки и пробки.  
За пробку платят очень мало —  
За десяток дают копейку.  
Бутылки стоят очень много —  
Копейки по четыре за штуку.  
Рынок, жарящийся под палящим  
Харьковским августовским солнцем,  
Выпивал озёра напитков,  
Выбрасывая пробки,  
Иногда теряя бутылки.  
Никто не мешал смиренной охоте,  
Тихим радостям, безгрешным доходам:  
Вечерами броди сколько хочешь  
По опустевшей рыночной площади,  
Собирай бутылки и пробки.  
Утром сдашь в киоск сидельцу  
За двугривенный или пятиалтынный  
И в соседнем киоске купишь  
«Рассказ о семи повешенных».  
Сядешь с книгой под акацию  
И забудешь обо всём на свете.  
Сверстники в пригородных сёлах  
Ягоды и грибы собирали.  
Но на харьковских полянах  
Росли только бутылки и пробки.

\* \* \*

Как говорили на Конном базаре?  
Что за язык я узнал под возами?

Ведали о нормативных оковах  
Бойкие речи торговков толковых?

Много ли знало о стилях сугубых  
Веское слово скупых перекупок?

Что  
    спекулянты, милиционеры  
Мне втолковали, тогда пионеру?

Как изъяснялись фининспектора,  
Миру поведать приспела пора.

Русский язык (а базар был уверен,  
Что он московскому говору верен,  
От Украины себя отрезал  
И принадлежность к хохлам отрицал),  
Русский базара — он странный язык.  
Я — до сих пор от него не отвык.

Всё, что там елось, пилось, одевалось,  
По-украински всегда называлось.  
Всё, что касалось культуры, науки,  
Всякие фигли, и мигли, и штуки —  
Это всегда называлось по-русски  
С «г» фрикативным в виде нагрузки.  
Ежели что говорилось от сердца —  
Хохма жаргонная шла вместо перца.

В ругани вора, ракла, хулигана  
Вдруг проступало реченье цыгана.  
Брызгал и лил из того же источника,  
Вмиг торжествуя над всем языком,

Древний, как слово Данилы Заточника,  
Мат,  
именуемый здесь матерком.

Все — интервенты, и оккупанты,  
И колонисты, и торгоши —  
Вешали здесь свои ленты и банты  
И оставляли клочья души.

Что же серчать? И досадовать — нечего!  
Здесь я учился, и вот я — каков.  
Громче и резче цеха кузнечного,  
Крепче и цепче всех языков  
Говор базара.

### Ударения

В Харькове Волга русского языка  
смешивает свои широкие воды  
с Днестром украинского языка.  
В Харькове русские слова  
выговариваются по-украински.  
В Харькове думают по-русски,  
говорят по-русски,  
но с украинским южным акцентом.  
Україна или Укрáина? —  
До сих пор не знаю точно.  
Мы, харьковские, путаем ударенья.  
Удары шли с севера, с юга.  
Самый сильный сваливал слово,  
и после него харьковчане  
устанавливали ударенья.  
Я говорю неторопливо  
не потому, что обдумываю,  
взвешиваю, примеряю слово,  
а потому, что расставляю  
знаки ударения над каждой гласной.



## Переобучение одиночеству

Я обучен одиночеству.  
Я когда-то умел это делать,  
знал эту работу:  
встать пораньше, лечь попозже,  
никому не мешая  
и не радуясь  
никому.  
Долгий день в промежутке от утра и до вечера  
провести, никому не мешая  
и никому не радуясь.  
Я забыл одиночество.  
Точно также, как, проучившись лет восемь игре на рояле  
и дойдя до «Турецкого марша» Моцарта  
в харьковской школе Бетховена,  
я забыл весь этот промфинплан,  
эту музыку,  
Бетховена с Моцартом  
и сейчас не исполню даже «чижик-пыжика»  
одним пальчиком, —  
точно так же я позабыл одиночество.  
Точно так же, как, выучив некий древний язык  
до свободного чтения текста,  
забыл алфавит —  
я забыл одиночество.  
Надо всё это вспомнить, восстановить, перевыучить.  
Помню, как-то я встретился  
с составителем словарей того древнего,  
мною выученного и позабытого  
языка.  
Оказалось, я помню два слова: «небеса» и «яблоко».  
Я бы вспомнил всё остальное —  
всё, что под небесами и рядом с яблоками, —  
нужды не было.  
Подхожу к роялю и тычу пальцами в клавиши:  
о-ди-но-че-ство!

Выбиваю мотив одиночества.  
У меня есть нужда  
вспомнить, восстановить, реставрировать,  
вновь освоить,  
перечувствовать до конца  
одиночество.

«СУДЬБА.  
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ»  
(1990)

Трибуна

Вожди из детства моего!  
О каждом песню мы учили,  
пока их не разоблачили,  
велев не помнить ничего.  
Забуть мотив, забыть слова,  
чтоб не болела голова.

...Ещё столица — Харьков. Он  
ещё владычен и державен.  
Ещё в украинской державе  
генсеком правит Косиор.

Он мал росточком, коренаст  
и над трибуной чуть заметен,  
зато лобаст и волей мечен  
и спуску никому не даст.

Иона, рядом с ним, Якир  
с лицом красавицы еврейской,  
с девическим лицом и резким,  
железным  
вымахом руки.

Петровский, бодрый старикан,  
специалист по ходакам,  
и Балецкий, спец по расправам,  
стоят налево и направо.

А рядышком: седоволос,  
высок и с виду — всех умнее  
Мыкола Скрыпник, наркомпрос.  
Самоубьётся он позднее.

Позднее: годом ли, двумя,  
как лес в сезон лесоповала,  
наручниками загремя,  
с трибуны загремят в подвалы.

Пройдёт ещё не скоро год,  
ещё не скоро их забудем,  
и, ожидая новых льгот,  
мы, площадь, слушаем трибуну.

Низы,  
мы слушаем верхи,  
а над низами и верхами  
проходят облака, тихи,  
и мы следим за облаками.

Какие нынче облака!  
Плывут, предчувствий не тревожа.  
И кажется совсем легка  
истории большая ноша.

Как день горяч! Как светел он!  
Каким весна ликует маем!  
А мы идём в рядах колонн,  
трибуну с ходу обтекаем.

\* \* \* 248

В городе, где рос и вырос,  
в каждой стенке виден вырез,  
сквозь который можно в детство,  
словно в зеркало, взглядеться.<sup>249</sup>

Волосы у нас повыпадали.  
Животы повырастили годы.  
Ни тебе, ни мне они не дали  
никоторой скидки или льготы.

Ты да я. Стоим друг против друга.  
Слишком долго пожимаю руку,  
думаю, о чём тебя спросить,  
кроме «как дела?», «какие новости?».  
А пиджак слезами оросить  
не хватает совести.

Мы железом были, но в распил  
нас пустили и в распыл.  
В общем, жили. И не только выжили.  
Прожили с честью, с совестью.  
Мы железные опилки. Нас  
разбросало по полю магнитному,  
по полю...

---

<sup>248</sup> Вот начиная отсюда — из журнальных и под. публикаций.

<sup>249</sup> Если формат таблички поэту немислим без цитаты (как в Славянске или у Кульчицкого), какую выберут в итоге, интересно: это четверостишие, «Как будто бы доброе дело / я сделал, что в Харькове жил «...», «...» как в неведомом, / невиданном, неслыханном, / как в невообразимом Харькове» или «Здесь я учился, и вот я — каков». А может быть, «Видите мальчика рыжего там, / где-то у рамки дубовой почти? / Это я сам. Это я сам! / Это я сам в начале пути».

Трус<sup>250</sup>

Вода (ведь я был тише воды),  
трава (ведь я был ниже травы),  
ценили скромность мою и труды  
и мне иногда говорили «вы».  
Но люди мне говорили: «Ты!»

Они обращались со мной, как скоты,  
которые, морды гордо задрав,  
всегда поступали по-скотски со мной.  
Скотов я обходил стороной.  
Знал их злобный нрав.

В детстве мне подарили часы,  
и я постоянно глядел в циферблат,  
считая секунды, минуты, часы,  
прошедшие без бед и затрат.

Огромный мир городов  
и малый квартирный мирок  
всегда был обидеть меня готов,  
всегда наказать меня мог.

И только ночью, сжавшись в ком,  
я зависти не вызывал ни в ком  
и злобы не вызывал,  
скорчившись нагишом, босиком  
в мире из двух одеял.

---

<sup>250</sup> Это и предыдущее — одни из самых ранних среди стихов тут. Они из подборки в «Иерусалимском журнале» (2019, № 62), где говорится: «Публикация Андрея Крамаренко. Стихи расшифрованы им по “единице хранения 4” фонда № 3101 ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ). Записаны же поэтом в эту тетрадь, содержащую 80 листов, предположительно в 1955 году». Из каких подборок следующие — уже указывать не будем, большинство оговорено в «Писателях в Харькове. Слуцком».

## Председатель класса

На харьковском Конном базаре  
В порыве душевной люти  
Не скажут: «Заеду в морду!  
Отколочу! Излуплю!»  
А скажут, как мне сказали:  
«Я тебя выведу в люди»,  
Мягко скажут, негордо,  
Вроде: «Я вас люблю».

Я был председателем класса  
В школе, где обучали  
Детей рабочего класса,  
Поповичей и кулачков,  
Где были щели и лазы  
Из капитализма в массы,  
Где было ровно сорок  
Умников и дурачков.

В комнате с грязными партами  
И с потемневшими картами,  
Висевшими, чтоб не порвали,  
Под потолком — высоко,  
Я был представителем партии,  
Когда нам обоим с партией  
Было не очень легко.

Единственная выборная  
Должность во всей моей жизни,  
Ровно четыре года  
В ней прослужил отчизне.  
Эти четыре года  
И четыре — войны,  
Годы без всякой льготы  
В жизни моей равны.

\* \* \*

Отец заповедал правила,  
но мать завещала гены  
и правила переправила,  
поправила всенепрерменно.

Мне это давно знакомо,  
хотя, конечно, не льстит:  
отцовские законы  
попрал материнский инстинкт.

Вот этак я скомпонован,  
основан так и уставлен:  
по всем инструкциям новым,  
по всем инструкциям старым.

И жаловаться не стоит  
на всю эту дребедень:  
что день грядущий готовит,  
не знает грядущий день.

\* \* \*

Снимок школьного выпуска —  
сорок проектов судеб,  
утверждённая выписка,  
общая справка на хлеб.

Разгребаю завалы  
слежавшегося забытья:  
всё овалы, овалы  
и в одном из них я.

Ну и рожи мы корчили,  
чуяли, верно, беду.

Своевременно кончили  
в тридцать таковском году.

Года этого метка  
различима в глазах без труда.  
Впрочем, школьников редко  
брали даже тогда.

### 18 лет

Было полтора чемодана.  
Да, не два, а полтора  
Шмутков, барахла, добра  
И огромная жажда добра,  
Леденящая, вроде Алдана.  
И ещё — словарный запас,  
Тот, что я на всю жизнь запас.  
Да, просторное, как Семиречье,  
Крепкое, как его казачье,  
Громоносное просторечье,  
Общее,  
Ничьё  
Но моё.

Было полтора костюма:  
Пара брюк и два пиджака,  
Но улыбка была — неприступна,  
Но походка была — легка.

Было полторы баллады  
Без особого складу и ладу.  
Было мне восемнадцать лет,  
И — в Москву бесплацкартный билет



Залегал в сердцевине кармана,  
И ещё полтора чемодана  
Шмутков, барахла, добра  
И огромная жажда добра.

### Верил?

Я беру краткосрочный отпуск,  
Добываю пропуск и допуск  
И в большую читальню иду,  
И выписываю подшивки,  
И смотрю на большую беду,  
Ту, что к старым газетам подшита.

Лица Постышева или Косарева,  
Простота, прямота этих лиц:  
Не воздали кесарю кесарево  
И не пали пред кесарем ниц.  
Вот они на заводах и стройках  
Зажигают большие огни.  
Вот они в сообщительных строках,  
Что враги народа они.

Я в Дворце пионеров, в Харькове,  
Где артисты читали Горького  
И огромный кружок полярников  
Летом ездил по полюсам,  
Видел Павла Петровича Постышева.  
Персонально видел. Я — сам.  
Пионер — с 28-го,  
Комсомолец — чуть погодя,  
Сашу Косарева — мирового,  
Комсомольского помню вождя.

Я по ихним меркам мерил  
Все дела и слова всегда.  
Мой ответ на вопрос: «Верил?»  
— Верил им. Про них — никогда.

### Говорит Фома

Сегодня я ничему не верю:  
Глазам — не верю,  
Ушам — не верю.  
Пощупаю — тогда, пожалуй, поверю:  
Если на ощупь — всё без обмана.

Мне вспоминаются хмурые немцы,  
Печальные пленные 45-го года,  
Стоявшие — руки по швам — на допросе.  
Я спрашиваю — они отвечают.

— Вы верите Гитлеру? — Нет, не верю.  
— Вы верите Герингу? — Нет, не верю.  
— Вы верите Геббельсу? — О, пропаганда!  
— А мне вы верите? — Минута молчанья.  
— Господин комиссар, я вам не верю.  
Всё пропаганда. Весь мир — пропаганда.

Если бы я превратился в ребёнка,  
Снова учился в начальной школе,  
И мне бы сказали такое:  
Волга впадает в Каспийское море!  
Я бы, конечно, поверил. Но прежде  
Нашёл бы эту самую Волгу,  
Спустился бы вниз по течению к морю,  
Умылся его водой мутноватой  
И только тогда бы, пожалуй, поверил.

Лошади едят овёс и сено!  
Ложь! Зимой 33-го года  
Я жил на тощей, как жердь, Украине.  
Лошади ели сначала солому,  
Потом — худые соломенные крыши,  
Потом их гнали в Харьков на свалку.  
Я лично видел своими глазами  
Суровых, серьёзных, почти что важных  
Гнедых, караковых и буланых,  
Молча, неспешно бродивших по свалке.  
Они ходили, потом стояли,  
А после падали и долго лежали,  
Умирала лошади не сразу...  
Лошади едят овёс и сено!  
Нет! Неверно! Ложь, пропаганда.  
Всё — пропаганда. Весь мир — пропаганда.

\* \* \*

Я помню твой жестоковыйный норов  
и среди многих разговоров  
одни. По Харькову мы шли вдвоём.  
Молчали. Каждый о своём.  
Ты думал и придумал. И с усмешкой  
сказал мне: — погоди, помешкай,  
поэт с такой фамилией, на «цкий»,  
как у тебя, немыслим. — словно кий  
держа в руке, загнал навеки в лузу  
меня. Я верил гению и вкусу.  
Да, Пушкин был на «ин», а Блок — на «ок».  
На «цкий» я вспомнить никого не мог.

Нет, смог! Я рот раскрыл. — Молчи, «цкий».  
— Нет, не смолчу. Фамилия Кульчицкий,  
как и моя, кончается на «цкий»!

Я первый раз на друга поднял кий.  
Я поднял руку на вождя, на бога,  
учителя, который мне так много  
дал, объяснял, помогал  
и очень редко мною помыкал.

Вождь был как вождь. Бог был такой как нужно.  
Он в плечи голову втянул натужно.  
Ту голову ударил бумеранг.  
Оборонясь, не пощадил я ран.  
— Тебе куда? Сюда? А мне — туда.

Я шёл один и думал, что беда  
пришла. Но не искал лекарства  
от гнева божьего. Республиканства,  
свободолюбия сладчайший грех  
мне показался слаще качеств всех.

### Мои первые театральные впечатления

В Харьков приезжает Блюменталь,  
«Гамлета» привозит на гастроли.  
Сам артист в заглавной роли.  
Остальное — мелочь и деталь.

Пьян артист, как сорок тысяч братьев.  
Пьяный покидая пир,  
кроет он актёров меньших братью,  
что не мог предугадать Шекспир.

В театр я пришёл почти впервые  
и запомню навсегда  
эти впечатления живые,  
подвиг вдохновенного труда.

В пятистопный ямб легко уложен  
обращённый королю и лолам  
многосоставной, узорный мат.  
Но меня предчувствия томят.

Я не подозреваю перепою.  
Но артисту прямо вперекор  
прозреваю в роли переборы,  
наигрыш и стилевой прокол.

Между тем события в королевстве  
Гамлетом подводятся к концу,  
о притворстве позабыв и лести,  
он удар наносит подлецу.

Кто уже отравлен, кто заколот,  
но артист неловок и немолод,  
вдруг сосну кровавит он доски  
всем ремаркам вопреки.

Занавес даётся строчек за сто  
до конца трагедии, и роль  
не доиграна. Уже он застит  
натуральную артиста кровь.

Зрители ныряют в раздевалку.  
Выражаю только я протест,  
ведь не шатко знаю текст, не валко —  
наизусть я знаю этот текст!

Я хочу, чтобы норвежский принц  
разобрался в этой странной притче,  
датского велел убрать он принца  
и всех прочих действующих лиц.

Но в чулочках штопанных своих,  
действие назад ещё убитый,  
выброшенный из души, забытый,  
вылетает Розенкранц, как вихрь.

Он стоит в заплатамном камзоле,  
и ломает руки сгоряча,  
и кричит, кричит, кричит — вне роли.  
Он взывает: «Граждане, врача!»

### Американский визит в ХГУ

Прорухи и прорехи  
доценты выясняют.  
Замученный профессор  
подробно объясняет.

Глядит доцент коварный  
лукаво и недобро.  
Костюмчик мешковатый  
обтягивает рёбра.

Глядит доцент лукавый,  
изысканный, как тенор,  
на колорит локальный,  
обшарпанные стены.

Студенты в гимнастёрках,  
профессор — в кителе,  
за окнами — в райторгах  
измученные жители.

Глядит доцент из Йела  
на нашего студента,  
на то, что люди ели  
и как они одеты.

Сейчас он улыбнётся,  
точнее: усмехнётся.  
Сейчас он вывод сделает,  
точнее: промахнётся.

\* \* \*

Хорошо бы проверить  
длину, высоту, ширину,  
глубину впечатлений  
был ли гением тот,  
кто мне в юности,  
как ни взгляну,  
представлялся, как гений.

По Молочной по улице  
(в Харькове) долго идти  
было из дому в школу.  
Надо бы протяжённость  
перепроверить пути.  
Может быть, и не долго,  
а скоро.

Бесконечной казалась война,  
эти длинные годы войны,  
дней длинноты, ночей пустоты...  
Перемерить однако  
длину той длины  
мне не хочется что-то.

### Стукнемся!

— Стукнемся! — говорили в Харькове  
в 94-й средней школе.  
Стукнуться означало: подрасться.  
Звук, издаваемый юной скулою  
при ударе кулака молодого,  
сухощав и громогласен,  
словно удар доски о полено.  
— Стукнемся, — говорили в школе,  
улыбаясь уставной улыбкой.

Я говорил: а что же!  
В тот монастырь со своим уставом  
я не совался. Интересовался  
Маяковским или Блоком,  
шёл за сарай — куда все ходили,  
стукался без разговоров со всеми,  
кто вызывал меня на это.  
Может, единственное отличие  
от инженеров, врачей, доцентов,  
всё давно позабывших,  
что я единственный из 94-ой  
не позабыл специального слова:  
«Стукнемся!»

\* \* \*

А я эстетов не застал.  
Я только в книжечках читал,  
в эстетских вышитых изданиях  
об этих вычурных созданных.

Когда я молод был и глуп,  
ходил в литературный клуб,  
и там — не в первый раз едва ли —  
меня эстетом обозвали.

— Эстет? Какой же я эстет?  
А где мой плащ? А где мой плед?  
И мне сказал Кульчицкий Миша:  
— Молчи! Веди себя потише!

Он часто мне напоминал,  
как милиционер пинал  
не соблюдавшего пропорцию  
эстета бывшего — пропойцу,



как продавал эстет иной  
нам сувенирчик костяной,  
гибрид из пряжки и заколки  
под волчьим взором барахолки.

О нём судачила молва,  
что были у него права  
на особняк и на имение,  
но он был нищим тем не менее.

Здоровый антиэстетизм  
в то время значил: «Не стыдись».

\* \* \*

В эпоху НЭПа, в дни его разгара  
Я рос и вырос на краю базара.

Меня на мелочь медную обменивали,  
А я-то думал — на большие деньги.  
Меня обвешивали и обмеривали.  
И эти годы — никуда не денешь.

С волками жил я, притворялся волком.  
Им лапы жал, на улице раскланивался.  
Но если ошибался я, обманывался —  
Так ведь меня обманывали с толком.

Как музыка в базарном репродукторе,  
Я за грехи базара не ответчик.  
Душа, ветрами времени продутая,  
Жила в плену предзнаменований вещей.

## Это правда

Многого отец не понимал,  
Например, значенья рифмы.  
Этот странный молоточек  
Беспокоил, волновал его.

А ещё он думал: хорошо  
Пишет сын, но слишком много платят.  
Слишком много денег он берёт.  
Вдруг одумаются, отберут назад.

— Это правда? — спрашивал отец,  
Если сомневался в этой правде,  
Но немедля вспоминал, что я  
С детства врать не обучался.

Сколь невероятна ни была  
Правда моего стихотворенья,  
Сердце барахлящее скрепя,  
Уверял отец, что это правда.

Инженером я не стал. Врачом —  
Тоже. Ремеслу не обучился.  
Офицером перестал я быть —  
Много лет, как демобилизовался.

Первым и в соседстве и в родстве  
И в Краснозаводском районе  
Жил я только на стихи.  
Как же быть могли они неправдой?

\* \* \*

Читали, взглядывая изредка  
поверх читаемого, чтобы  
сравнить литературу с жизнью.  
И так — всю юность.

Жизнь, состоявшая из школы,  
семьи, и хулиганской улицы,  
и хлеба, до того насущного,  
что вспомнить тошно, —

жизнь не имела отношения  
к романам: к радости и радуге,  
к экватору, что нас охватывал  
в литературе.

Ломоть истории, доставшийся  
на нашу долю, — чёрств и чёрен.  
Зато нам историография  
досталась вся.

С её крестовыми походами,  
с её гвардейскими пехотами  
и королевскими охотами —  
досталась нам.

Поверх томов, что мы читали,  
мы взглядывали, и мы вздрагивали:  
сознание остерегалось,  
не доверяло бытию.

Мы в жизнь свалились, оступившись  
на скользком мраморе поэзии,  
мы в жизнь свалились подготовленными  
к смешной и невесёлой смерти.

## Хвастовство памятью

*Т. Дашковской*

Память — это остаток соли.  
Всё испарится, она — остаётся.  
Память это участок боли.  
Всё заживает, она — взывает.

В детстве определения — определённой,  
ясность — яснее, точность — точнее.  
В детстве новый учитель истории,  
умный студент четвёртого курса  
задал нам для знакомства с нами:  
напишите на отдельном листочке  
все известные вам революции.  
Все написали две революции —  
Февральскую и Октябрьскую.  
Или три —  
с девятьсот пятым годом.  
Один написал Великую Французскую,  
а я написал сорок восемь революций,  
навсегда поссорился с учителем истории,  
был освобождён от уроков истории  
и покончил с этим вопросом.

Память — это история народа,  
вошедшая в состав твоей крови.  
Это уродство особого рода,  
слабеющее с годами.  
Что эти формулы двадцатилетним,  
даже двадцатипятилетним?

В доблестном девятьсот сорок пятом  
в венгерском городе Надьканижа  
я формировал местные власти,  
не зная ни слова по-венгерски,  
на дохлом немецком и ломаном сербском  
с применением обломков латыни.

Я учредил четыре обкома:  
коммунистов, социал-демократов,  
партии мелких земледельцев  
и одной небольшой партии,  
которая тоже требовала власти,  
но не запомнилась даже по имени.  
За четыре дня: обком за сутки, —  
а также все городские власти —  
за то же время,  
и ни разу не ошибся,  
не назвал господином товарища  
(и обратно)  
и Миклошем — Иштвана.  
На банкете  
лидер оппозиции, источая иронию,  
выпив лишку,  
сказал:  
— Я никогда не поверю,  
что у вас такая память.  
Просто вы жили год или больше  
в нашем городе и нас изучили. —  
Между тем всё было не просто,  
а гораздо проще простого,  
у меня была такая память —  
память отличника средней школы.

Сейчас, когда, словно мел с доски,  
с меня сыплется старая память,  
я сочиняю новые формулы  
памяти,  
потому что не могу запомнить  
ничего,  
даже ни одной старой  
формулы памяти, сочинённой  
другими стареющими отличниками,  
когда с них, словно мел с доски,  
ссыпались остатки их памяти.

## Как сделать революцию

С детства, в школе,  
меня учили,  
как сделать революцию.  
История,  
обществоведение,  
почти что вся литература  
в их школьном изложении  
не занимались в сущности ничем другим.  
Начатки конспирации,  
постановка печати за границей,  
её транспортировка через границу,  
постройка баррикад,  
создание ячеек  
в казармах —  
всё это спрашивали на экзаменах.  
Не знавший,  
что надо первым делом  
захватывать вокзал,  
и телефон, и телеграф,  
не мог окончить средней школы!  
Однако,  
на проходивших параллельно  
уроках по труду  
столяр Степан Петрович  
низвёл процент теории  
до фраз:  
это — рубанок.  
Это — фуганок.  
А это (пренебрежительно) — шерхебок.  
А дальше шло:  
вот вам доска!  
Берите в руки  
рубанок, и — конец теории!  
Когда касалось дело революции,  
конца теории

и перехода к практике —  
не оказалось.  
Теория,  
изученная в школе  
и повторённая  
на новом, более высоком уровне  
в университете,  
прочитанная по статьям и книгам  
крупнейших мастеров  
революционной теории и практики,  
ни разу не была проверена на деле.  
Вообразите  
народ,  
в котором четверть миллиарда  
прошедших краткий курс  
(а многие — и полный курс)  
теории,  
которую никто из них  
ни разу в жизни  
не пробовал на деле!

### Кульчицкие — отец и сын

В те годы было  
слишком много праздников,  
и всех проказников и безобразников  
сажали на неделю под арест,  
чтоб не мешали Октябрю и Маю.  
Я соболезнаю, но понимаю:  
они несли не слишком тяжкий крест.

Офицерё, хулиганё,  
империи осколки и рваньё,  
все социально чуждые и часть  
(далёкая) социально близких  
без разговоров отправлялась в часть.

Кульчицкий-сын  
по праздникам шагал  
в колоннах пионеров. Присягал  
на верность существующему строю.  
Отец Кульчицкого — наоборот: сидел  
в тюрьме, и угрюмел, и седел, —  
супец — на первое, похлёбка — на второе.

В четвёртый мая день (примерно) и  
девятый — ноября  
в кругу семьи  
Кульчицкие обычно собирались.  
Какой шёл между ними разговор?  
Тогда не знал, не знаю до сих пор,  
о чём в семье Кульчицких  
препирались.  
Отец Кульчицкого был грустен, сед,  
в какой-то ветхий казакин одет.  
Кавалериста, ротмистра, гвардейца,  
защитника дуэлей, шпор певца  
не мог я разглядеть в чертах отца,  
как ни пытался вдуматься,  
вглядеться.

Кульчицкий Михаил был крепко сбит,  
и странная среда, угрюмый быт  
не вытравила в нём, как ни травила,  
азарт, комсомолятину его,  
по сути не задела ничего,  
ни капельки не охладила пыла.

Наверно, яма велика войны!  
Ведь уместились в ней отцы, сыны,  
осталось также место внукам, дедам.  
Способствуя отечества победам,  
отец в гестапо и на фронте — сын  
погибли. Больше не было мужчин



в семье Кульчицких... Видно, велика  
Россия, потому что на века  
раскинулась.

И кто её охватит?

Да, каждому,  
покуда он живой,  
хватает русских звёзд над головой,  
и места  
мёртвому  
в земле российской хватит.

\* \* \*

Мои старые юные фотографии,  
где я выцвел от времени, но всё же цветущ,  
и короткие автобиографии  
в две-три строчки без нависающих туч.

Моё первое личное дело. Школьное —  
то, что школьной тетрадки не толще,  
ещё неотягощённое, вольное,  
коротенькое, тощее.

В общем, был ли какой надо мною контроль,  
я об этом не знал ни шиша.  
И я вёл свою роль, как весёлый король  
опереточный! Общества то есть душа.

И всё это надёжно запечатлено  
на старинной, на юной, на блёклой, на свежей  
фотографии. Всё, что мне было дано,  
и каких там собак на меня же не вешай,

вот он — я. Вот погоны мои полевые.  
Золотые, серебряные ордена.  
Заявляйте, родимые, словно живые,

где я был и впоследствии и впервые  
и за что кавалерия эта дана!

Кавалерия эта за инфантерию,  
как пехоту честили в офицерском кругу,  
и за третью, за гитлеровскую империю,  
о разгроме которой напомнить могу.

### Устные пересказы

Учитель был многосемен,  
но честно ношу нёс свою  
и мучился, как сивый мерин,  
чтоб продовольствовать семью.

А при почасовом окладе  
мы тоже были не внакладе  
в часы родного языка.  
И жизнь у нас была легка.

Он лишь немного предварял  
мой устный пересказ романа.  
Вполуха слушал: без обмана.  
Потом тетради проверял.

Потом надолго уходил:  
то параллельный класс проведать,  
то попросту домой — обедать,  
покуда курс я проходил.

Пересказал я всё на свете:  
«Войну и мир», «Отцы и дети»,  
и «Недоросль», и «Ревизор»  
своим я словом перепёр.

Метода та преподаванья  
не вызвала негодованья

у класса моего. Мой класс  
за годом год, за часом час  
внимал без слов моим сказаньям,  
и затаённым их дыханьям  
я, начинающий поэт,  
великий излагал сюжет.

Потом, спустя десятилетия,  
они проверили в кино  
всё то, что я давным-давно,  
вставляя только междометья,  
довольно верно изложил  
и тем любовь к литературе,  
пусть в пересказе, не в натуре,  
фундамент верный заложил.

*26 февраля 1977 г.*

## Советская старина

Советская старина. Беспризорники. Общество «Друг детей»,  
общество эсперантистов. Всякие прочие общества.  
Затеиванье затейников и затейливейших затей.  
Всё мчится и всё клубится. И ничего не топчется.

Античность нашей истории. Осоавиахим.  
Пожар мировой революции,  
горящий в отсвете алом.  
Всё это, возможно, было скудным или сухим.  
Всё это, несомненно, было тогда небывалым.

Мы были опытным полем. Мы росли, как могли.  
Старались. Не подводили Мичуриных социальных.  
А те, кто не собирались высовываться из земли,  
те шли по линии органов, особых и специальных.

Все это Древней Греции уже гораздо древней  
и в духе Древнего Рима векам подаёт примеры.  
Античность нашей истории! А я — пионером в ней,  
Мы все были пионеры.

\* \* \*

Озеленению и украинизации  
мы подчинялись как мобилизации.  
Мы ямы рыли, тополя сажали,  
что значит «брыли» мы соображали.  
Над «і» мы точку ставили и кратко  
те точки называли «крапки».  
Читаю «Кобзаря» без словаря  
и, значит, ямы я копал не зря.  
И зелен Харьков (был когда-то голый),  
и, значит, я не зря учил глаголы.

## «ВРЕМЯ» — «БРЕМЯ». БАЗАР<sup>251</sup>

Родившийся в Славянске Случкий с 1922-го по 1937 год жил в Харькове: детство и отрочество. «Как будто бы доброе дело / я сделал, что в Харькове жил <...>» — это из стихотворения «Тридцатые годы».

Есть ещё «Музыка над базаром»: «Я вырос на большом базаре, / в Харькове, / Где только урны / чистыми стояли, / Поскольку люди торопливо харкали / И никогда до урн не доставали <...>» — любимое стихотворение Бродского, читавшего его наизусть. Бродский считал себя последователем Случкого, сказал о нём: «Случкий почти в одиночку изменил тональность послевоенной русской поэзии. <...> Ему свойственна жёсткая, трагичная и равнодушная интонация. Так обычно говорят те, кто выжил, если им вообще охота говорить о том, как они выжили, или о том, где они после этого оказались...» Речь о прозаизации стиха, переставшего у Случкого петь о своём и заговорившего языком улицы, двора, базара — ломано, как бы неправильно, не подбирая слов.

«Музыка над базаром» — не единственное стихотворение о Конном рынке, рядом с которым он жил. «Как говорили на Конном базаре?», «Первый доход: бутылки и пробки...», «Председатель класса» — тоже о нём: «На харьковском Конном базаре / В порыве душевной люти / Не скажут: “Заеду в морду! / Отколочу! Излуплю! / А скажут, как мне сказали: / “Я тебя выведу в люди”, / Мягко скажут, негордо, / Вроде: “Я вас люблю”».

Достаточно посмотреть на названия, которые Случкий давал книгам своих стихов, чтобы увидеть, что его интересовало больше всего, — время и память: «Память» (1957), «Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), «Современные истории» (1969), «Годовая стрелка» (1971), «Доброта дня» (1973), «Продлённый полдень» (1975), «Время моих ровесников»<sup>252</sup> (1979), «Сроки» (1984).

<sup>251</sup> Напомню, после всего сказанного в «Писателях в Харькове. Случкий», и вторичное значение этого слова как «нарратива», «речи».

<sup>252</sup> В издательстве «Детская литература», вышедшее ранее и годящееся детям.

Время — бремя: «Но времени тяжкое бремя / таскать — не перетаскать» («Тридцатые годы»), — оно структурирует жизнь человека, втискивает её в минуты и в секунды, годы, подчиняет правилам, обезличивает, делая похожим на остальных, никем.

Память — нагрузка ко времени, вернее, та её часть, что поселилась внутри человека и управляет им. Единственный шанс ощутить себя кем-то — забыть о происходящем, уйти в себя: «И в соседнем киоске купишь / “Рассказ о семи повешенных”. / Сядешь с книгой под акацию / И забудешь обо всём на свете» («Первый доход: бутылки и пробки»), «Так себя самого убивая, / То ли радуясь, то ли скорбя, / Обо всём на земле забывая, / Добывал он стихи из себя» («Кульчицкий», заключительная строфа, а до неё: «целый день», «в предвечерний час», «больше часу», «через час» — стих перенасыщен временем; и в предыдущем: «вечерами», «утром»).

Для тридцатых годов Слуцкий нашёл метафору: «Трамвай, пассажирами полный, / спешит, от застав до застав. А мы, как в набитом трамвае, / мечтаем, чтоб время прошло <...>» («Тридцатые годы»), — но она может характеризовать и любую эпоху вообще: сороковые, война — это, как помним из хрестоматийного, запертые в трюме корабля лошади — смысл тот же. Дело не в эпохе — в самом человеке: он не свободен. Почти всегда.

«И всё же тридцатые годы / (не молодость — юность моя), / какую-то важную льготу / в том времени чувствую я» («Тридцатые годы»). «Льгота» здесь удивительно не на месте, если иметь в виду только «привилегию», и на месте — если «полное или частичное освобождение от соблюдения установленных законом общих правил».

Это не самое обыкновенное слово «льгота» Слуцкий использует в ещё одном «харьковском» стихе<sup>253</sup>, там оно уже чёт-

<sup>253</sup> И в «Трибуне»: «Пройдёт ещё не скоро год, / ещё не скоро их забудем, / и, ожидая новых льгот, / мы, площадь, слушаем трибуну». И — «Волосы у нас выпадали. / Животы повырастили годы. / Ни тебе, ни мне они не дали / некоторой скидки или льготы» из «В городе, где рос и вырос...»

Вообще, если присмотреться, «льгота» у Слуцкого в активном лексиконе: «Был мор на всех Иванов на Руси, / что с девятьсот шестого / были года, / и сколько там у бога ни проси, / не выпросила своему Ивану льготу» («Иванихи»), «И другие есть льготы и прелести, / краю нет им, конца им нет, / У поры незабвенной зрелости, / именуемой: сорок лет» («Преимущества сорокалетнего возраста»), «Не дают нам льготы или скидки — / Справедливость требуют для всех» («С Алексеевского равелина...»), «Ордена теперь никто не носит. / Планки носят только чудаки. / И они, наверно, ско-

ко будет противопоставлено «долгу» и «обязанности»: «Единственная выборная / Должность во всей моей жизни, / Ровно четыре года / В ней прослужил отчизне. / Эти четыре года / И четыре — войны, / Годы — без всякой льготы / В жизни моей равны» («Председатель класса»; педалирование «года», «годы», разумеется, и здесь не случайно).

В «Тридцатых годах» ответ о «какой-то важной льготе» упряган. «<...> соей холодной питался, / процессы в газетах читал, / во всём разобраться пытался, / пророком себя не считал. / Был винтиком в странной, огромной / машине, одетой в леса <...>» — это не льгота, наоборот, всё тот же «трамвай».

Но в таком, кажется, простом стихе «Первый доход: бутылки и пробки» книжка — средство «забыть обо всём на свете» — покупается на деньги от собранных на базаре бутылок и пробок. В «Председателе класса» две картинки: базар и школа, где рассказчик — «без всякой льготы» — служит председателем класса. А в «Как говорили на Конном базаре?» первую строчку продолжает «Что за язык я узнал под возами? // Ведали о нормативных оковах / Бойкие речи торговок толковых?»

Базар — «заплёванный, залузганный, замызганный, заклятый ворожкой, неистовую руганью заруганный, забожженный истовой божбой» — это «позорная погань» и не человек — зверь, живущий инстинктами: «Лоточники, палаточники / пили / И ели, / животов не пощады. / А тут же деловито били / Мальчишку вора, / в люди выводя».

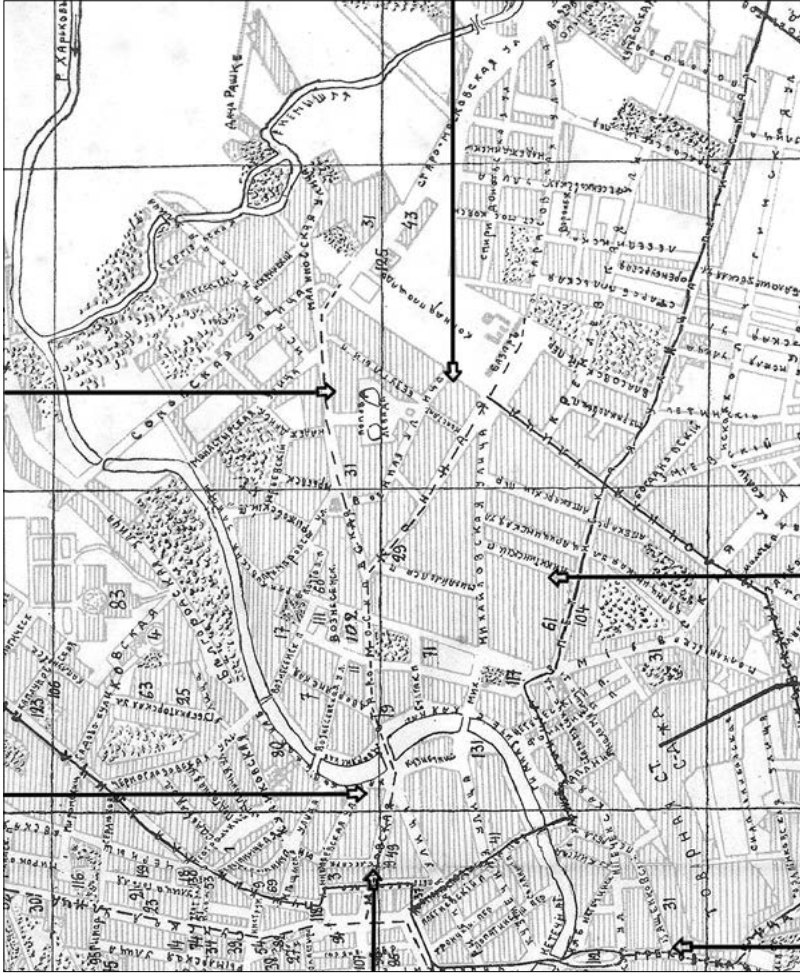
Об этом звере надо писать с омерзением, но Слуцкий пишет с восхищением. У него нет выбора: либо «трамвай», где все от рождения до смерти прижаты друг к другу понятиями нормы и долга, либо базар — дикий, шумный, неуправляемый, единственное, что осталось от первобытного хаоса в чистом виде. От того времени, когда и времени не было.

ро бросят, / Сберегая пиджаки. / В самом деле, никакая льгота / Этим тихим людям не дана, / Хоть война была четыре года, / Длинная была война» («Ордена теперь никто не носит...»), «Ценности сорок первого года: / я не желаю, чтобы льгота, / я не хочу, чтобы броня / распространялась на меня. // Ценности сорок пятого года: / я не хочу козырять ему. / Я не хочу козырять никому» («Ценности»), «Будущее футуристов — Сад Всеобщих Льгот, / где сбудутся сны человечества и его не забудят. / Будущее футурологов — просто будущий год: / будет он или не будет» («Будущее футуристов — Сад Всеобщих Льгот...»), «Наголодавшись за долгие годы, / хотелось попросить судьбу / о дарованье единственной льготы: / жрать! / Чтoб дыханье спёрло в зобу» («Желанье поесть») и др.

Конная (Защитников Украины), 9.  
Дом Слуцкого

Николаевская (Короленко), 27.  
Дом Слуцких до революции

Старомосковская, 54 (Московский проспект, 74).  
Дом Петникова



Никитинский, 22 и 22-А.  
Усадьба Синаяковых

Грековская, 9.  
Дом Кульчицкого

Московский, 11.  
Дом родителей Слуцкого в 1960–70-е

Карта Харькова 1914 г.





*Короленко, 27 (с аркой) на месте (Николаевская, 27),  
где до революции жили Слуцкие.  
Наверху видна Купеческая (Хоральная) синагога*



*Есть версия, что это Конный рынок, 1900-е.  
Автор фотографии не установлен*



*Площадь Защитников Украины. Торговый центр «Протонъ».  
«KFC» — на месте дома Слуцкого (Конная площадь, 9)*



*Защитников Украины, 5/6. Одно из соседних с домом Слуцкого зданий.  
Его дом, по всей видимости, был таким же  
(«напоминал кирпичный барак», «окна на уровне мостовой»)*



*Сохранившиеся дома по Военной напротив дома Слуцкого*



*Московский, 11, где после Конной, 9 жили родители Слуцкого*



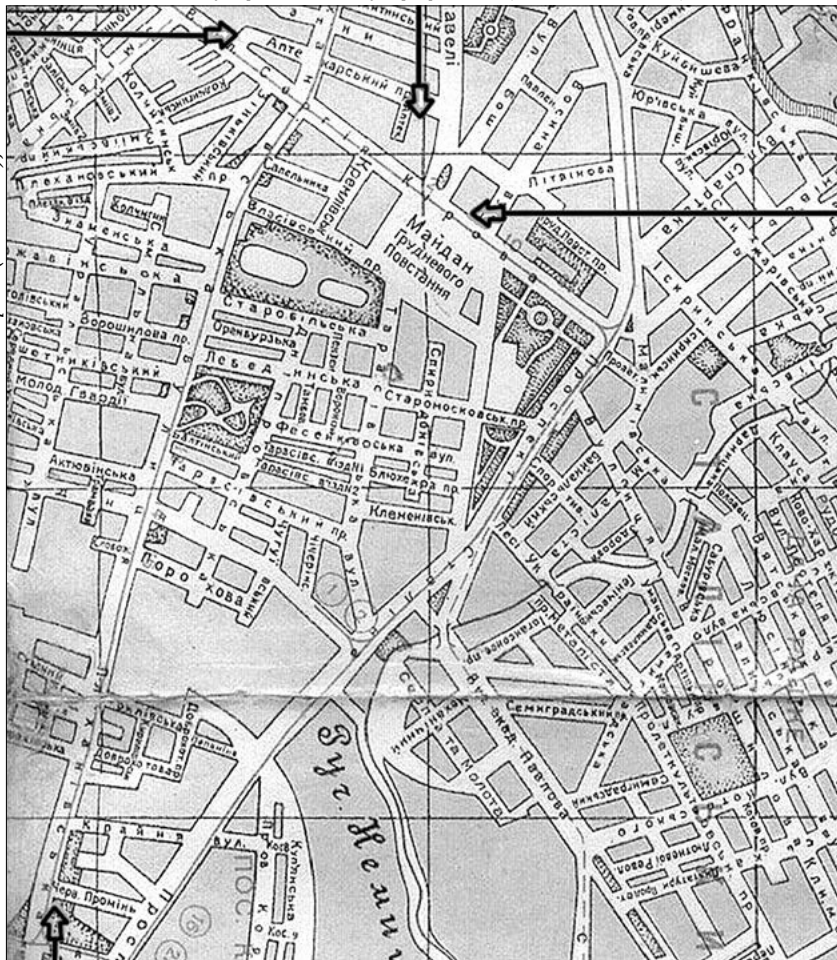
*Один из двух домов усадьбы Синяковых — на Никитинском, 22-А, —  
которого уже нет*



*Грековская, 9. Дом Кульчицкого*

Аптекарский, 3. Плехановский филиал  
1-й Государственной музпрофшколы (имени Бетховена)

Кирова (Молочная), 38. 11-я школа



Площадь Декабристов востаня (Конная), 9.  
Дом Глуцкого

Плехановская, 151. 94-я школа

План Харькова 1938 г.



*Аптекарский, 1/42. Новострой на месте Плехановского филиала  
1-й Государственной музпрофшколы (Аптекарский, 3)*



*Молочная, 38. Новострой на месте бывшей 11-й школы*



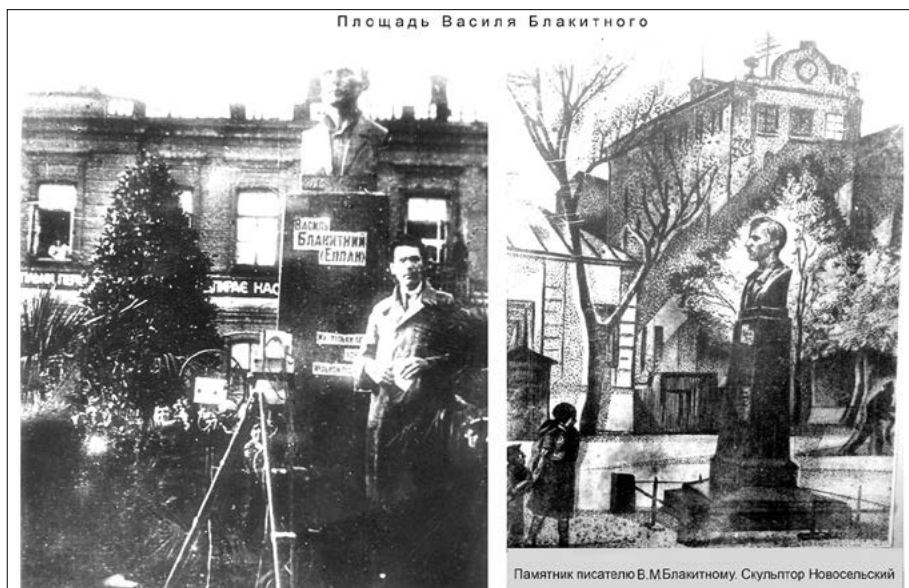
*Плехановская, 151. 94-я школа. Будем считать, что памятник в будёновке — Слуцкому. Плакат на входе: «Знания — наш престиж»*



*Плехановская, 151. Двор 94-й школы, где «стучались»*



*Площадь Тевелева (Конституции), Дворец пионеров (разрушен в 1943 г.).  
 Фотография Германа Хёфке, 1942 г.  
 (Фотоархив Фонда прусского культурного наследия  
 [ныне Агентство по изобразительному искусству, культуре и истории])*



*Площадь Эллана-Блакитного  
 (перекрёсток Чернышевской — Гиришмана — Алчевских) в начале 1930-х*





*Полтавський шлях, 33. Дом Ермилова*



*Площадь Конституции, 14 (посредине).  
Бывший Центральный лекторий, где в 1960-м «состоялось одно из первых  
публичных выступлений Слуцкого перед большой аудиторией»*



*Харьков или Харьковщина, 1933 г. Фотографии Александра Винербергера.  
(Архив Венского диоцеза, коллекция кардинала Теодора Иннитцера.)  
У верхней авторское название — «Кони голодного лихолетья»*

*Слуцкий  
в послевоенном Харькове.  
Фотография из архива  
С. Лихтарёвой.  
Впервые опубликована  
в «Вестнике», 2002,  
№ 11 (296)*



*Табличка  
Слуцкому в Славянске*



## «РАКЛО»

Говорят, что это, как и «тремпель», чисто харьковское слово. Что ж, литература его воспринимает именно таковым. И Куприн — похоже, первый, кто употребил его в художественной речи<sup>254</sup> — пишет: «В Петербурге его называют “вяземским кадетом”, в Москве — “золоторотцем”, в Одессе — “шарлатаном”, в Харькове — “раклом”. В Киеве ему имя — “босяк”»<sup>255</sup> (цикл «Киевские типы», очерк «Босяк» [1896]); впрочем, не забывает Куприн этого смачного слова и через сорок лет: в рассказе «Ральф» [1934], действие которого происходит в Харькове, без каких бы ни было объяснений идёт: ««...» в гостиницу Коняхина, где собиралось всяческое ракло»). И поэма «Ладомир», где «И будто перстни обручальные / Последних королей и плахи, / Носитесь в воздухе, печальные / Раклы, безумцы и галахи», написана Хлебниковым в 1920 году в Харькове; и «Как говорили на Конном базаре?..» Слуцкого 1960-х, где «В ругани вора, ракла, хулигана / Вдруг проступало реченье цыгана», о харьковском Конном базаре же; и Катаев, упомянув о раклах («— Интеллигент! Писатель! — кричали ему вслед и улюлюкали из подъездов кино раклы, приведённые в восторг его длинными ногами, кургузым пиджаком, пенсне

<sup>254</sup> Ну, не считая, конечно, местных журналистов. Один из них — Василий Иванов (Шпилька), работавший в харьковской газете «Южный край», — написал сатирическую поэму «Путеводитель по Харькову» (1890), где в главке «Лысая гора» говорится: «Здесь вместо ведьм “раклы” живут... / Плоды профессии почтенной / они здесь ночью берегут, / чтоб завтра утром непременно / их на базаре ловко сбыть, / а к ночи новое стащить...»

<sup>255</sup> И точно такое же объяснение (любопытно, что в одном месте расходящаяся с купринским) видим у современника Куприна Гната Хоткевича: «Ракло — на Харківщині — це те, що босяк на Київщині, драголь — у Херсонщині, жулік — у Москві, золоторотець — у Ленінграді» (рассказ «Дід Андрій» [1900]). Пусть «Ленинград» никого не смущает, рассказ впервые был напечатан в собрании сочинений писателя в 1929 году, тогда же явно появился и комментарий. Кстати, он — к «раклюге», в таком моменте: ««...» а про запорожців знав тільки те, що колись на шляху біля верби був шинок, то шинкареві на ім'я було Запорожець — “раклюга дев'яносто восьмої проби”, як казав про нього дід Андрій».

и странного вида каракулевой шляпой с обвисшими полями», повесть «Растратчики» [1926]), делает сноску: «босьяки, золоторотцы на харьковском жаргоне». Точно так же, сказав «ракло», поступает Леонид Лиходеев в автобиографической повести «Жили-были дед да баба» (1993) — и даёт в примечании свой взгляд на происхождение словца. Пояснить, что «“Ракло” — местное харьковское слово <...>», считает нужным и Лимонов в романе «Молодой негодяй» (1986)<sup>256</sup>; и Кабаков в «Сочинителе» (1991) предваряет «ракла» так: «<...> для него, харьковского хулигана — “ракла” <...>». А харьковчанка Гурченко в книге воспоминаний объясняет «ракла» через другое харьковское словечко того же плана: «Я знала, что “ракло” лучше, чем “сявка”. “Сявка” — это опустившийся, безвольный человек, ничто. А “ракло” — это вор действующий, соображающий. Я научилась воровать» («Аплодисменты» [1987]).

Но примечание, объяснение — дело необязательное, и чаще «ракло» идёт в тексте как так и надо: «“Раклы” — подумал я и поглубже засунул в карман пиджака пачечку денег», — правда до этого есть их описание: «Около кассы, заложив руки в карманы, стоят два подозрительных верзилы в клетчатых кепках, надвинутых на лоб, и широких брюках клёш» (Владимир Беляев, «Старая крепость» [1937–1951]) — и действие в этой части романа происходит в Харькове. Или у Льва Копелева: «Он дружил с Колькой-Американцем, вожакom большой шайки, в которую входили не только обычные “раклы”, но и профессиональные воры — ширмачи, хазушники, уркаганы и т. п.» (мемуары «И сотворил себе кумира» [1960–1977]), «И ножа не забоялся, когда на меня здоро-

<sup>256</sup> Причём со ссылкой на Хлебникова: «“Раклы, безумцы и галахи” — населяли, по словам Хлебникова, город в его время. “Ракло” — местное харьковское слово, точнее даже бурсацкое, с Бурсацкого спуска родом. Теперь, кажется книгоноше, после многих лет опять появились в Харькове и раклы, и безумцы. Безумцы уж точно. Что-то происходит в Харькове». Но в предыдущем романе «харьковской трилогии» «Подростке Савенко» (1983) — без пояснений: «Кадик, который почему-то постоянно вытесняет из жизни Эди-бэби всех его других друзей, говорил Эди-бэби, чтобы он не ходил на побоища шпаны. Кадик одинаково терпеть не может и “своих” — салтовских, и тюренских, и журавлёвских, он ездит гулять в “центр” — на Сумскую улицу, там у него свои друзья — джазисты и стилиаги, все они намного старше Кадика. “Эди, зачем тебе все эти раклы?” — говорит Кадик. Это его обычная песня. “Зачем тебе раклы, Эди?”».

вый ракло полез» (повість «На крутих поворотах короткої дороги» [1982]), — місце діявства — Харьков; время — конец 1920-х.

Точно так же обстоят дела с «раклом» и в украинской литературе: «Та що ж тут заводиться? Те, що між людьми завжди буває, як убереться проміж їх пройдисвіт всевітній, — оббере, обшахрає, та й годі! Казала я Химці; не вір раклові, не вдаряй на те, що він, наче снігур той, розрядився, то — ракло раклом!.. Усе на йому чуже, усе мошенством добуте!.. Так ніт же, — повірила, ще й заміж пішла» (говорит в комедии Панаса Мирного «Згуба» [1896] Палажка — «городська куховарка»<sup>257</sup>); «У нас у Харкові так завелось, що коли де кучка народу збереться, то вже між гущу і ракло втреться» («Словарь української мови» [1907–1909] Бориса Гринченка, харьковчанина, — и это, должно быть, первое зафиксированное словарём «ракло», Гринченко определяет его как «Харьк.» и кратко объясняет как «Босьякъ», и всё); «У нас тут, як споночіє, і не виходь. Під цим от містком, бува, ракли чатують. Знаєте: “Дядю, дай субу”? Не знаєте? А ще статті пише! Це так: іде хтось у шубі, а назустріч хлопчєня і стиглить: “Дядю, дай субу, бо холодно”. — “Пішов, каже, геть!” А хлопчик за рукав: “Та, дядю, дай субу, дя-адю!” — “Та відчєпись, пацєня!” — “Дя-адю, су-убу... Ой, не бийтєсь!” А з-під містка здоровенне раклище суне та до прохожого: “Ти чого дитину зобіджаєш? Сказано — дай шубу! Ану, витряхайсь!”» (Сергей Пилипенко, «Товариська послуга» [1927]; місце діявства — Харьков); «— Дурнєнька... Я що — лежебока? Чи якийсь ракло? Шофер! Першого класу!..» (Ярослав Гримайло, харьковчанин, роман «Незакінчений роман» [1962]).

Но вот «ракло» уже безо всякого Харькова, так сказать, гуляющее на свободе: «Горный воздух, чьё стекло / вздох неведомо о чём / разбивает, как ракло, / углекислым кирпичом» (Иосиф Бродский, «В горах» [1984]); «Ишь он, фря, забыл, паскуда, змей, стукач худой, как у нас на поселухе стал обиженным? И полсроката, ракло, не сдюжил, ссучился <...>» (Михаил Кононов, «Голая пионерка» [1990–1991]). И там же слегка видоизменённое: «А другой, вроде, и сука позорная, и на руку не чистый, рыкло, значит <...>».

<sup>257</sup> Панас Мирный — полтавчанин. Очевидно поэтому украинская «Вікіпедія» по поводу «ракла» пишет, что это «українське вульгарне слово, <...> поширене на Харківщині та Полтавщині» (а также, расширяя контекст, что кроме «шахрай, босьяк, злодій» означает ещё и «дрібний злочинець з села»).

К слову, о модификациях. Встречается и такая — любопытно, что у харьковского писателя: «Наступил мой час. Из незаметного парня, приехавшего сюда месяц назад, которого можно обидеть просто так, которому запрещён вход на танцплощадку и в кинотеатр “Салют”, я превращался в холодногорского пацана, по-местному — в “рокла”. Это были отчаянные хлопцы, скандальные, хитрые и драчливые, не боящиеся ни бога, ни чёрта, ни даже главного милиционера района капитана Мамонтова по кличке Слон. Холодная гора — окраина громадного каменного города, дважды сожжённого, исковерканного огнём, снарядами, бомбёжками... Гора со своими извечными уличными законами и правилами жизни принимала меня в свою семью» (Борис Силаев, «Юность сорок пятого» [1980]).

Итак. Откуда в Харькове взялось это слово, твёрдого мнения нет, есть версии. В принципе, все они могут быть правдой. Самая поэтичная, её пересказывает Василь Минко, связана с именем Ираклий и бурсой — духовной семинарией, — находившейся в Харькове на одноимённом — Бурсацком — спуске, там, где сейчас Академия культуры. Или сама семинария носила имя Святого Ираклия (их в святцах несколько: Ираклий Афинянин, Ираклий Севастийский, главный — мученик III века Ираклий Андрианопольский), или при ней была церковь Святого Ираклия — не установить, документального подтверждения нет. Бурсаки же поэтому звались ираклями, или короче — раклями: Ракля — уменьшительно-ласкательное для Ираклия, когда он тих и смирен; а когда, как в «Очерках бурсы» Помяловского, вечно голодный, после уроков устраивает набег на близлежащий Благовещенский рынок, он для торговки не ракля, а ракло<sup>258</sup>, подчёр-

<sup>258</sup> У Василя Минко, харьковчанина одно время, об этом так (автобиографическая повесть «Моя Минківка» [1962], глава «Пани і ракли»):

«Ми бачили тільки панів та раклів.

Панами ми вважали всіх, хто був гарно одягнений. А раклами — злодюжок та обідранців, якими кишив тоді Харків. Іван Костянтинович на кожному кроці попереджав нас:

— Дивіться в обое, обкрадуть!

До речі, хто не знає походження слова “ракло”, можу пояснити. Колись у Харкові існувала бурса, яка носила ім’я святого Іраклія. А бурсаки, як усім відомо, уславлялися й тим, що крали в перекупок бублики, рибу і все, що траплялося під руку. Коли вони з’являлися на харківському базарі, одразу подавався тривожний сигнал:

— Іракли! Іракли!

кнуто среднего рода и с грубым, как в «кубло», «трепло», «хамло» и «мурло», суффиксом «-ло».<sup>259</sup>

Возможно, торговки тут и ни при чём. Бурсаки и сами — для пушей бравады — могли себя так прозвать. Изучающие древнегреческий, латынь, семинаристы любили баловаться словообразованием, и вклад бурсацкого арго в современные языки невероятно велик. Самые привычные, детские даже, слова, на которые никогда и не подумаешь как на семинаристские, оказываются оттуда: «фокус-покус» от произнесённого скороговоркой латинского «хок эст корпус мэум» (*hoc est corpus meum* — «сие есть тело моё»), помните Тайную вечерю? — столь надоедливо повторяемое во время причастия, что стало у школяров расхожей шуткой), «куролесить» от греческого «кюрие элейсон» (*kyrie eleison* — «Господи, помилуй!») — кричали бурсаки во время, опять же, набегов на рынок). «Ахиня», «катавасия», «ерунда» тоже когда-то, до семинаристов, значили Афины (то есть мудрость), церковное богослужение *katavasis* и отглагольное существительное в латинском языке — герундий.

Во второй версии — именно её излагает Лиходеев — нет Ираклия, но есть Геракл, а так почти то же самое: бурсаки, рынок, набег. Набег — это «тринадцатый подвиг Геракла» на языке бурсы. Совместив обе версии, получим «подвиги Ираклия», но по большому счёту, делать это нет необходимости, они уже совмещены. Ираклий — «православная» форма древнегреческого имени Геракл (как неправославная, допустим, французская — это Эркюль, Эркюль Пуаро), и семинаристы, безусловно, знали это.

Поэтому на самом деле второй версией будет цыганская (Виктора Шаповала<sup>260</sup>). Весь блатной и стремящийся к блатному жар-

Згодом “і” відпало, залишилося ракли. А ще потім і бурси не стало, а раклами стали називати всіх босяків і злодіїв.

Отаким залишився в моїй пам’яті дореволюційний Харків».

<sup>259</sup> К слову припомним, что и знаменитое «Путин — хуйло!» родилось именно в Харькове.

<sup>260</sup> Он, доцент Московского педуниверситета, — специалист по арго и цыганскому языку. Из его статьи «К истории слова *ракло*: “раклы, безумцы и галахи” в “Ладомире” В. Хлебникова», в которой и излагается эта версия, мы по-цыгански свистнули Лиходеева. Ещё там, кроме заглавного и отправного Хлебникова, из худлита — в данном случае массолита — фигурирует Александр Щёлоков: «Два старых уголовника — не авторитеты, а так ракло — средний слой криминала...» (повесть



гон, мы знаем, — это наполовину цыганский, наполовину идиш: цыган украл, еврей продал — такова была жизнь, — а чтоб никто не узнал, требовался свой язык. «Ксива», «шухер», «мусор» и само «блат» — из еврейского; «чувак», «лавэ», «лабух» — из цыганского, и то, что они обозначали раньше, далеко от нынешнего и нам может совсем не понравиться: «чувак», например, — это кастрированный баран или верблюд. «Ракло» у цыган значило «нецыганский паренёк» (то же, что на идише «нееврей» — «гой»), а зацепившись и осев в Харькове — мелкого наглого вора.

Третья версия и будет еврейской, вернее, немецкой, поскольку идиш и есть немецкий еврейский. Её излагает «Етимологічний словник української мови» в вышедшем в 2006 году пятом томе, определяя «ракло» как «шахрай, босяк», далее говорит: «(...) запозичення з німецької мови; нвн. Rekel (Rakel) “великий пес; неотесана, незграбна людина, вайло” споріднене з снн. гол. gekel “самець (про собаку, вовка, лисицю); гульвіса, шахрай, нероба, негідник”, алем. rache “шукач (собака)”, дангл. гьсе “лягавий собака”, англ. [rake] “вівчарка”, ісл. Rakki». В принципе, всё возможно: евреи появились в Харькове ещё в конце XVIII века, и потом диаспора только росла, Харьков был вполне еврейским, у Слуцкого в том замечательном стихе цыганам предшествуют евреи, перед строкой «В ругани вора, ракла, хулигана» — строки «Ежели что говорилось от сердца — / Хохма жаргонная шла вместо перца», «жаргон» — это идиш с точки зрения иврита; немцы — в самом начале следующего, XIX-го, века, когда их позвали в только что учреждённый университет (и первые десять лет языками преподавания были немецкий и латынь), а вслед за профессурой потянулись ремесленники и предприниматели, появилась Немецкая улица, пивоваренные заводы «Бавария», «Новая Бавария» (и один из админрайонов сегодня Новобаварский же поэтому) и «Южная Бавария», и не только пивоваренные, Максимилиан Гельферих основал завод сельскохозяйственной техники, в советское время ставший «Серпом и молотом», и т. д. и т. п. Харьков, в общем, был

«Моча в голову» [1999]), — а также цитата из очерка А. А. Белецкого «Максимилиан Волошин»: «(...) в Харькове цыганское слово *ракло* обозначало “вор”, хотя у цыган так назывался “нецыган”, т. е. русский» («Collegium», 1994, № 1, с. 104). И много чисто словарного материала, конечно. Украинский языковед Андрей Белецкий (1911–1995), к слову, харьковчанин, киевлянином стал уже после войны.

немецким наравне с еврейским, и выяснить, кто из них ругался больше и чаще, от кого ушло в народ это Rekel, «грубиян», «хам» («дворняга»), представляется вряд ли возможным.

Четвёртая версия слова — Михаила Красикова<sup>261</sup> — французская. Если социальный низ в XIX веке говорил на цыганско-еврейском, то социальный верх — *comme il faut* — по-французски. Кое-что из речевых оборотов бар перепадало прислуге, швейцарам, дворне, и от них уходило глубоко в народ. Да и Отечественная война 1812 года оставила свой след в русской-украинской лексике. Кто теперь станет допытываться, с каких дел французский «милый друг» (*cher ami*) вдруг стал русским «шаромыжником», а *chantera pas* («не будет петь» — говорил француз-капельмейстер при отборе крестьянских детей в помещичий хор) «шантрапой». Однако у французского *racleur* другой случай, как у «каналья», которая хоть на своём, хоть на русском значит одно и то же. *Racleur* — это плохой музыкант, плохой парикмахер, вообще плохой специалист, а в целом — отребье; и никакой ошибки здесь нет.

И наконец, пятая версия завершит разговор, а французский закольцует с бурсацким. Из классики мы помним, что было такое ругательство — ракаля. Даль говорит — с ним спорят, — что его придумали семинаристы, увязав евангельское, еврейское слово «рака́» («...» кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону «...») — «пустой человек» — с французским «каналья» (*canaille*) — «сброд». Думается, что для благовещенских торгов — людей всё-таки скуповатых и поэтому достойных называться ракалями — бурсацкий неологизм был чересчур изысканным и трудоёмким для произношения, и они, отвечая «сам ты...», переделали его в «ракло».

И даже если согласиться с оппонентами Даля и отбросить бурсаков, приняв «ракаля» за просто французское *gasaille* («жульё», «сволочь», «подонки общества»), для нас мало что поменяется: «ракло» — это «ракаля», занесённое на хорошо унавоженную другими, типа «хайло»—«фуфло», ругательствами харьковскую почву и ставшее здесь тем, чем стало.

<sup>261</sup> Фольклориста и литературоведа, доцента НТУ «Харьковский политехнический институт» и директора этнографического музея «Слобожанські скарби» при нём. Красиков говорит: «Скорее всего, это от французского, во французском языке есть слово “ракле”, которое означает “отребье”» (<http://www.objectiv.tv/080912/74502.html>).

Назовём эту, пятую, версию именем Владимира Добровольского. И хотя всей вышеприведённой этимологии у него, харьковского писателя, нет, зато в романе «Дом в тупике» (1959) есть вот что: «— Бог ты мой! — ужаснулась Валентина Васильевна. — Петька! Это же исчадие ада! Я страшно жалею, что мы отдали Витю в эту хулиганскую школу. Мне передавали: в нагорном районе, в тридцать шестой, такие интеллигентные дети. А здесь — Петька, Ивановская ракалия». И авторская сноска к «ракалии»: «В Харькове воров называли раклами».

## СОДЕРЖАНИЕ

Писатели в Харькове. Слуцкий .....	3
<i>Борис Слуцкий</i> . [Харьков] .....	108
«Время» — «бремя». Базар .....	180
«Ракло» .....	183

Народжений у Слов'янську Борис Слуцький (1919–1986) з 1922-го до 1937 року проживав у Харкові: дитинство та юнацтво. «Как будто бы доброе дело / я сделал, что в Харькове жил <...>» («Тридцатые годы»). Книга — про це, епоху Слуцького у Харкові: «Жизнь, состоявшая из школы, / семьи, и хулиганской улицы, / и хлеба, до того насущного, / что вспомнить тошно <...>» («Читали, взглядывая изредка...»). Про епос Харкова, який створив Слуцький у шести десятках віршів (балад, вони у другій частині книги зібрані єдиним блоком, вперше), і про харківську мову, яка змінила у Слуцького, за виловом Йосифа Бродського, всю «тональність послевоенной русской поэзии».

«Я вырос на большом базаре, / в Харькове <...>» («Музыка над базаром»), «Как говорили на Конном базаре? / Что за язык я узнал под возами? // <...> Здесь я учился, и вот я — каков. / Громче и резче цеха кузнечного, / Крепче и цепче всех языков / Говор базара» («Как говорили на Конном базаре?..»).

Для всіх, хто цікавиться поезією, Харковом, Слуцьким — і відповіддю на питання «Слуцкий ты / Или советский?» (Всеволод Некрасов).

*Науково-популярне і літературно-художнє видання*

Краснящих Андрій Петрович

## ПИСЬМЕННИКИ В ХАРКОВІ. СЛУЦЬКИЙ

*(російською мовою)*

ISBN 617-7391-69-1



Відповідальний за випуск *Є. Ю. Захаров*

Редакція авторська

Коректор *І. Б. Захарова*

Комп'ютерна верстка *О. А. Мірошниченко*

Підписано до друку 22.04.2020

Формат 60×84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура PT Serif

Умов. друк. арк. 11,16. Облік.-вид. арк. 8,90

Наклад 200 прим. Зам. № МО-06/20

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ»

61002, Харків, вул. Дарвіна, 7, кв. 35

Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України

серія ДК № 4783 від 23.10.2014 р.

ел. пошта: [distribution.hr.publisher@gmail.com](mailto:distribution.hr.publisher@gmail.com)

Видання: ФОП Мірошниченко О. А.

61002, м. Харків, вул. Дарвіна, 16, кв. 25

тел.: (050) 303-22-85

ел. пошта: [merash@i.ua](mailto:merash@i.ua)



Андрей Краснящих. Родился в 1970 г. в Полтаве. Книга рассказов «Парк культуры и отдыха» (Харьков, «Тяжпромавтоматика», 2008; шорт-лист Премии Андрея Белого); публикации в альманахах «Вавилон», «Фигуры речи», «Абзац», «Новая кожа» и др., журналах «Наш», «Новый мир», «Волга», «Новая Юность», «ШО», «Черновик» и др., в переводе на английский — в «The Lite-

rary Review», «The Massachusetts Review», «Sakura Review», «VICE», «Words without Borders» (США); в переводе Сергея Жадана на украинский — в «Готелі Харкова: Антологія нової харківської літератури» и «Харківська Барикада № 2: Антологія сучасної літератури». «Русская премия» (2015), премия журнала «Новый мир» (2015), имени О.Генри «Дары волхвов» (2015), Дмитрия Горчева (2017) и др. Соредактор литературного журнала «©оюз Писателей». Живёт в Харькове.

Родившийся в Славянске Борис Слуцкий (1919–1986) с 1922-го по 1937 год жил в Харькове: детство и отрочество. «Как будто бы доброе дело / я сделал, что в Харькове жил <...>» («Тридцатые годы»). Книга — об этом, эпохе Слуцкого в Харькове: «Жизнь, состоявшая из школы, / семьи, и хулиганской улицы, / и хлеба, до того насущного, / что вспомнить тошно <...>» («Читали, взглядывая изредка...»). Об эпосе Харькова, созданном Слуцким в шести десятках стихов (баллад, они во второй части книги собраны единым блоком, впервые), и о харьковском языке, изменившем у Слуцкого, по выражению Иосифа Бродского, всю «тональность послевоенной русской поэзии». «Я вырос на большом базаре, / в Харькове <...>» («Музыка над базаром»), «Как говорили на Конном базаре? / Что за язык я узнал под возами? // <...> Здесь я учился, и вот я — каков. / Громче и резче цеха кузнечного, / Крепче и цепче всех языков / Говор базара» («Как говорили на Конном базаре?..»). Для всех, интересующихся поэзией, Харьковом, Слуцким — и ответом на вопрос «Слуцкий ты / Или советский?» (Всеволод Некрасов).